



БЕЛОВОДЬЕ

I

Панфил еще в детстве любил послушать, как отец рассказывал про прежнее.

Отец его, чернобородый, весь будто выкованный великан, был лучшим на Алтае кузнецом. Никто не умел ни по длине, ни по калибру отливать таких стволов, какие выходили у Панкрата.

Бывало, долго собирается и много думает над каждым кусочком железа, а потом тряхнет нечесаными прядями волос, ядрено кого-то выругает и пойдет на речку, к кузнице. В это время Панкрата не трогай: ничего не поймет, ничему не удивится; стоит часами над огромной наковальней и, сдвинув брови, плющит молотом упругое железо.

С ним неотступно Панфилка. Пробрется, крадучись, в кузницу, юркнет под мех и следит оттуда за каждым движением отца-великана. Отец тяжело налегает на меха, хватает клещами железо, нагибается за молотом, но одному неловко, и Панфилка, пользуясь моментом, неуверенно выглядывает.

— Тятенька, я покачаю мех?

Тот удивленно смотрит в сторону чувала, щурит правый глаз и раздраженно сопит носом.

— Между ног пролезет, окаянный! Не увидишь! Ишь, куда забился!.. Инструмент туда кладу... а ежели бы я тебя калеными клещами тыкнул в харю-то? Соображай!

— Я, тятенька, вижу, увернусь!

— Увернусь! Ну, да качай уж!

Панфилка кубарем летит наружу, берет, как опытный кузнец, обмызганные кончики веревки, мех злобно пыхтит, а в такт ему пыхтит и Панфилка.

— Стой! Ты! Леший... Видишь, в горне пусто. Неча зря буровить.

— Тятенька, чтоб не потухло.

Но Панкрат уже не слышит. Жилистые темные руки, шутя, играют раскаленной полосой, а на лице — и тоска, и надежда, и удаль.

Панфилка раскис, обессилел и давно весь в поту, а отец все покрикивает:

— Ну, поддай! Поддай еще! Еще поддай!

Наконец, когда железо принимает форму длинного ружейного ствола, Панкрат твердо ставит молот к наковальне и садится на обрубок. Панфилка только этого и ждал.

— Зашабашили, тятенька?

— Зашабашили, брат! — кричит весело отец. — Ну, Панфилка, ружьецо удастся!

Панфилка сияет.

— На козлов, тятя, пойдем?

— На козлов? Нет, тот зверь покрепче, на которого пойду. Да... Ну, на кого там случится. Сам еще не знаю. Подрости немножко — расскажу.

Панкрат запускает кулаки в густую бороду и, облокотившись в колени, сидит так долго-долго, необычно задумчивый.

Панфилка недоверием обижен; но заспорь с отцом — прогонит. А впереди самое интересное: надо заготовить и инструмент, и ствол, потом сверлить, потом прицеливать. Много работы еще!..

Так бывало в детстве.

И тогда же — помнит он — отец надолго уходил куда-то в горы. Раз вернулся через месяц, а в другой раз — через год.

Вместе с ним уходили многие. Снарядятся, как на охоту, а там и пропадут. Прискачет начальник, соберет стариков, накричит, нашумит, половину перепорет, но ничего не добьется: молчат старики. По всем горным тропинкам пойдут мелкие отряды казаков-разведчиков. Но куда им! Потеряют следы на бродах и вернутся. Мужиков же приведут потом китайские солдаты или сами они при-

дут отдельными группами. Уходили целыми деревнями, и во главе всегда стоял Панкрат.

Не понимал тогда Панфилка, куда уходили мужики. Слышал, что ищут какие-то «белые воды». Но кристальная вода родной реки не казалась ему черной, и в душу кралось недоверие: не воду ищут, нет!

Когда Панфилу было уже лет под тридцать, отец после долгих лет спокойной жизни снарядил из соседних деревень человек пятьдесят и в одну ночь успел укрыться за границей. Четыре года не было о них ни вести, ни слуху. На Бухтарме решили, что они нашли, наконец, Беловодье, осели там, и вот-вот пошлют гонца. Стали поговаривать уже о сборах в дальний путь, как беловодцы объявились. Часть из них погибла, часть вернулась под конвоем. Панкрата с ними не было. Много прошло еще времени, пока его доставили на родину.

Это было последнее его путешествие. Больной, жестоко изувеченный монголом за былые подвиги, почти седой, он не вставал уже с постели.

Панфил не раз подходил к нему, но старик сурово хмурился и отталкивал его костлявым кулаком.

Пролежал всю зиму, наступила новая весна. Однажды вечером Панкрат поманил к себе сына, выслав всех из горницы и заговорил:

— Прощай, Панфилушка... Прости, христа ради, меня...

Панфил, как подкошенный, пал на колени.

— Меня прости, батюшка!

— Ну, там бог тебя простит... А я уж... Куда мне... Неугоден я господу... Не дал мне вывести народ православный из царства антихристового.

— Что ты, батюшка!

— Молчи!

Старик прерывисто дышал, выдавливая слово за словом из разбитой недугом груди.

— Не поспалось опять... Раздумался я ночью-то и вспомнил... Махонькой ты был... Бывало, выйду в кузницу, а ты уж там... Помогать все просил...

— Помню, батюшка.

— Помнишь?

Не поворачивая головы, он скосил глаза на склоненную голову сына и минуту думал что-то, морща складчатый, широкий лоб.

— Ишь ты, ведь!.. Помнишь?.. Лежал я, думал все, какой ты был у нас... Золото парнишка был... Да... А потом ты спрашивал, куда я ходил. Спросишь, а я крикну... Парнем был уж, опять спрашивал... Теперь знаешь, куда мы ходили, а не спрашиваешь, боишься меня. Господь бог наградит тебя за почтение... А ведь это я тебя боялся. Вот что... Как на духу тебе сказываю. Послухмянный ты был своим родителям, церкви-матушке угодливый, ко святому писанию усидчивый... Думаю, взять его в помощники, а он и сделает все без меня, найдет Беловодье... Ты это можешь.

— Слаб я, батюшка.

— Не говори, Панфил. Ты можешь... Наказан я за гордыню свою. Может, если бы ходил с тобой, нашел бы... Вижу я, как зверь идет к тебе... Охотник ты в крае первеющий. А это в нашем деле — первая рука. Все тебе горы, все ущелины — будто родные. Не заблудишь, не оступишься... Да... Только стыдно тебе ходить с тем базарным ружьишком. Ты не какой-нибудь...

Панкрат с большим усилием приподнял кисть руки и показал глазами и высохшим пальцем на стену, где висело самодельное ружье:

— Достань-ка мне его.

Встал Панфил, перегнулся через высокую скрипучую кровать и осторожно принял на руки тяжелый ствол. Ружье давно уже сильно проржавело. От широких ремней висели жалкие клочки, а расколотая ложа была вдоль и поперек обита жестью.

— Поднеси.

Панфил нагнулся.

Старик ласково провел сухой ладонью по стволу и судорожно сжал его.

— Слуга мой верный... Все напасти поделили... На охоте ли, на баранте ли с некрещеными — не подвел ни разу... Тридцать два медведя положил им, семь киргизцев, а монголов — так без счету.

Он нащупал жерло и дробно, много раз кряду осенил его крестом.

— Возьми, Панфил... Поправить только надо: раскололи нехристи... Отцовское оно, заговоренное, обстрелянное... Возьми теперь.

— Спаси тебя господи, батюшка!

— Ладно... Только ты его почисти...

Панфил растерянно повертывал ружье в руках. Потом с благоговением повесил на старое место.

Иссохшая рука отца тяжело скатилась с живота на край постели.

— Сядь тут.

Сел Панфил. Взглянул на желтое обросшее лицо и отвернулся: не мог смотреть и сознавать, что перед ним лежит тот самый богатырь-вожак, за кем шли стар и мал.

Панкрат дышал все тяжелее.

— Не пашел вот я... Неудобно, значит, богу... Что же, ты найдешь... Скажи мне, веришь ли в землю Восеонскую, правой вере обетованную?

— Верю, батюшка.

— А как ты веришь?

Сын молчал.

— Как ты веришь, говорю? Всяко верят. Есть, которые смеются. Из стариковских, из наших же такие есть. А другие опять рассудком затмились и ищут сказку богомерзскую... Думают, на белых водах калачи по березам висят... Не то надо искать... Не такое Беловодье.

— Понимаю, батюшка.

— Вразуми тебя господи! Беловодье оно ого всех стран отличительно... Найдешь, небось... Вдоволь там воды, вдоволь черной земли, и леса, и зверя, и птицы, и злаков всяческих, и овощу... Трудись только во славу божью, как прародитель наш Адам трудился. Не смотри, что хорошо сама земля родит. Потом поливай ее... Ты слышишь, Панфил?

Тот вздрогнул, поймав себя на нехороших мыслях.

От старика, от одежды его, от постели тянуло смрадом. Сердце ныло в тоске, а к горлу подступала тошнота. Боролись два чувства — отвращение к беспомощному трупу и страх, благоговение перед каждым словом навсегда уходящего в вечность столпа.

— Что ты, батюшка! Ни единого из слов твоих не утрачу.

--- Угодья разные там высмотри, да не забудь и душу... Не должно там быть власти, от людей поставленной... Тем и свято оно, Беловодье. Ни пашпорта тебе там, ни печати антихристовой — ничего... Правой вере простор... Живи, как хочешь... Управляйся стариками... Вот как... Понимаешь?

— Понимаю.

— Пойми... пойми...

Хотел сказать что-то, но в груди в буйном приступе кашля забились разбитые легкие, и вместо слов всю избу наполнили дикие, жуткие звуки. Давно нечесанная борода трепалась в серой холщевой рубаше, щеки вспыхнули румянцем, а широко открытые безумные глаза, с густой сетью красных жилок, упрямо смотрели в низкий черный потолок.

Долго кашлял, стонал и бессильно плевался. Потом затих. Потом опять заговорил:

— Дай мне Триодь Цветную!

Панфил послушно шагнул в передний угол, снял с киота толстую, обтянутую кожей, в дубовых корках книгу и поднес.

— Возьми тоже себе... Старой печати она... Дониконовской... Истинная книга... Одна осталась. Все походы с ней сделал, пуще глазу берег... Береги и ты... Теперь встань сюда и наклонись.

Панфил опустился на колени.

— Клади левую руку на Триодь... Так... Сложи двуперстно правую... Клянись мне, что не отступишь от старой веры.

— Батюшка, клянусь!

— И живот и душу за нее положишь?

— Положу! Клянусь!

— И детей и внуков к ней приведешь?

— Клянусь!

— Клянись, что по гроб, по конец земной своей жизни, не смиришься духом, пока не сыщешь землю Восеонскую.

— Батюшка! Слаб я.

— Клянись!

И звякнул стекло, медным звоном отдался в ушах могучий, властный голос. Будто крикнул не старик, а тот прежний великан Панкрат.

— Клянусь, батюшка.

— То-то!.. Теперь ты скован, но господь тебе поможет, поведет тебя.

— Батюшка, батюшка...

В сухом рыдании Панфил уткнулся лбом в постель. Отец нашупал его голову и, больно тыкая в темя крепкими горбатыми ногтями, трижды осенил крестом.

— Благословляю тебя... Родительским своим благословением. Помоги тебе бог... А теперь ступай.

— Батюшка, батюшка!

— Говорю тебе, ступай!

С низко опущенной головой Панфил вышел в сени. Через два дня Панкрат умер.

II

Давно это было, с лишним сорок лет назад. А Панфил все искал Белозодье. Высокий, тонкий, всегда в черном кафтане, всегда благообразный, он внушал всем доверие и, куда ни приходил, везде был первым. И старики и молодые знали, какое бремя носит на своих плечах Панфил. Когда его старуха, вечно скорбная Никитишна, умоляла бросить странствия, заняться домом, позаботиться о старости, он, сверкая глазами, сильно возвышал свой кроткий голос:

— Клятва! Клятва на мне! Не ваш я не твой. Я правой веры слуга и послужу ей до смерти, не за страх, а за совесть. Укрепи меня, не искушай!

Никитишна подолгу плакала в углах, но возражать боялась. Слишком велико было обаяние его и слишком ничтожной казалась она перед вождем народным. В душе она даже гордилась им. Но человеческое побеждало.

В тот же год, как схоронили отца, Панфил увел беловодцев на поиски земли Восеонской.

По неопытности, в первый раз, пошли огромным табором. Пошли в ту же сторону; куда водил Панкрат — все на юг и на юг. Но, очутившись за горами, в необъятной шири каменных полей и кочующих песков, не знали, куда двинуться. Бродили наугад, роптали друг на друга и всех больше на Панфила, но каждый новый день встречали с тайной верой в счастье. Иногда ничтожный случай приводил их в трепетный восторг, и они ликовали, как дети. Покажется на горизонте ярко зеленеющая сопка, заискрится змейкой студеная речка — и забыты ссоры, жалобы, как не бывало мрачных мыслей. Бодро шумит тогда усталый табор.

Один раз беловодцы после долгих, трудных переходов, после того, как отчаянье холодным камнем легло на все сердца, когда уже не было сил идти куда-нибудь, случайно вышли на безымянное урочище с плодоносной нетронутой почвой, богатое зверем и птицей. Высмотрели

каждый уголок, все обсудили, взвесили и тогда только решили осесть. После строгого трехдневного поста, подкрепленного горячими молитвами и славословием, взялись за топоры. Загудели девственные рощи, взвыл хозяин их — не знавший человека зверь. Бойко и радостно работали люди. Один Панфил бродил тревожно-молчаливый. Странно это было: не нашел он радости. Ночами он подолгу вздыхал и молился: просил все веры и духа кротости. Но смутное, тяжелое сомнение давило душу. Не того он ждал от Беловодья, и все казалось, что вот-вот кто-то придет и скажет: «Куда же ты завел доверчивых людей? Тебе ли, слабому?». Наконец, мужики приступили к нему:

— Скажи нам, если чуешь что-нибудь.

Но уклонился Панфил, подумал выждать. А на другой же день пришла орда! Мстя за прошлые обиды беловодцев, налетели ураганом всадники, по бревну раскатали они едва заготовленный лес, разграбили добро, забрали в плен всю молодежь, а стариков погнали табунѣм к границе.

Позорен и мучителен был этот путь, и лишь немногие перенесли его, дошли домой. В числе их был Панфил.

Но неудача не скосила его. Только в длинной узкой борде и на висках несчастье перевило черные густые пряди тонким серебром, да по лицу скользнули мелкие морщинки. Мучительно и крепко думал свою думу Панфил. Ни насмешки, ни жалобы, ни частые крутые разговоры с малым и большим начальством — ничто его не волновало. И это гордое спокойствие передавалось всем. Знали, что Панфил опять уйдет. И ушел.

Так тянулось тридцать лет.

Но устал ли Панфил, потерял ли он веру в успех, — только все реже и реже уходил он за границу.

— Слаб старик, — с глубоким уважением говорили мужики. — Оскудел, поизносился.

И вот, случилось, заболел Панфил. В жару, теряя временами память, лежал он пласт-пластом на лавке. Большая козловая шуба тяжело давила ему грудь. Мысли путались. Длинными ночами лежал Панфил один в пустой избе, беспомощный, недвижимый, и тогда безумный страх наступил на него из жутко-молчаливой темноты. Казалось, что лохматое чудовище, всем телом навалившись на хрипящую слабую грудь, все ближе наклоняет к его лицу

свое уродливое рыло, дышит смрадом, злобно скалит мерзкий рот и шепчет:

— Что ж ты не покажешь людям дорогу к Беловодью? Клятвопреступник ты! За мирские прелести продался! Там, в чужой земле — и голод, и холод, и смерть под пулей. А здесь тебе почет!..

Отступило чудовище, и вкрадчиво сладок его голос:

— Разве ты не человек? Почему ты должен мыкаться всю жизнь, как какой-нибудь Бергал? Где твой дом? Подумай только, что ты сделал с собой, со старухой, с ребятами? Они тебя не знают, и ты не знаешь их. Брось, Панфил, одумайся! Вот теперь ты наставник... Здесь ты нужен. Брось!.. Что там говорил тебе отец — забудь! Сам он не нашел, не найти и тебе. Нет там земли Восеонской! Разве здесь вам худо? Вспомни, сколько исходили вы, а где вы видели лучше, чем здесь? Тут и Беловодье вам...

Плыли иплыли из душной темноты слова его, и нельзя было уйти от них.

Панфил в безумии тыкал руками в воздух, падал с лавки на пол и кричал:

— Отыде от мене! Отыде! Грешник я великий... Не искушай! Клянусь животом своим, пойду еще на Беловодье. Есть оно! Нет, не искушай. Найду его!.. Господи, господи!..

Домашние с трудом привели старика в рассудок.

Но с каждым днем Панфил креп духом. Твердое решение удесятяряло силы в борьбе с чудовищем, все легче было с ним тягаться и совсем стало легко, когда Панфил излился в исповеди перед сонмом древнейших стариков общины.

III

Стояла яркая весна. Все круче поднималось солнце на небо; курились трещины и пади; с гор хлестала бурным валом мутная вода; на припеках зеленели сопки; цвел матерый черный лес. Время было пахать.

Бухтарминцы с раннего утра ползут из глубокко заброшенных в долины деревушек по отлогим жирным скатам. К вечеру по тем же чуть приметным тропкам, группами и в одиночку, из-за малых и больших гребней, то теряясь в перелесках, то цветными пятнами мелькая по каменистым

лысынам, спускаются они домой. И только достигнут долины, вихрем взмоют на поджарых лошаденках. Обгоняя стариков и грузных баб, с хохотом несется молодежь в деревню. Парни и девицы скачут вперемешку. Увлеченные ворвутся в улицу, всклубят густую пыль, и долго потом по косым переулкам то тут, то там пронизывают воздух громкие, веселые выкрики.

Весь великий пост Панфил служил исправно. Трудно было: не слушались ноги и срывался голос, но старик крепился. Росло в нем то огромное, святое, что он вынес из борьбы с болезнью. Радостью полна была душа.

Наступило третье воскресенье после пасхи. Как всегда в такие дни, Панфил поднялся рано. Свежо было на улице. С белков тянуло сыростью и холодом. Лучи уже слегка ласкали гребни ближних гор, а тут, внизу, над крайними домами у скалы, еще плавали гуськом клочки тумана, невзначай захваченные днем. Они растерянно искали выхода.

В черном нанковом кафтане и большой тяжелой шапке шел Панфил в моленную. Шел не торопясь, намеренно виляя по всем закоулкам, чтобы видели прихожане. Велось так издавна.

Вот за пряслом углогового дома выпрямилась рослая фигура женщины. С высоко подоткнутым подолом, держа в одной руке подойник, а другую далеко откинув, она испуганно смотрела на Панфила.

Он степенно снял шапку.

— Здорово, Власьевна!

— Здорово ночевал! Да нешто уж в моленную?

— С божьей помощью, пошел.

— Проспала, знать. Ах ты, милый мой!.. Дашутка! — колыхаясь дряблым телом, закричала баба: — Где ты, пропастина, провалилась? Дашка! Мне идти уж время... Коровенок-то подои!

И везде, где проходил Панфил, из-за плетней и прясел доносились голоса:

— Пошел в моленную.

— Дедушка пошел в моленную.

— Служба скоро — дедушка идет.

Моленная стояла вблизи речки, в самой гуще построек, где усадьбы вплотную сходились грязными задворками. Среди дряхлых, покосившихся навесов и никогда не чищенных хлевов, невзрачное, низкое зданьице моленной

никому не бросалось в глаза. Старенький амбаришко — не больше. Кто подумает, что по ночам под этой крышей люди отбивают тяжкие поклоны, славят бога и несут ему в немудреных словах свои горести, обиды, жалобы?

Но начальство проведало, налетел орлом сам заседатель и наложил на дверь и узкое окошко крепкие печати. Да Панфил падоумил. Послушались его, и вышло хорошо.

Моленная вплотную примыкала одним боком к новому высокому амбару, не больше пол-аршина было между стенами. Их прорубили в полроста, забрали бревнами короткий коридорчик, а пустоту засыпали навозом. Когда кончили работу, не могли нарадоваться. Трудно стало попадать в моленную, но сладка была молитва за печатью.

Знакомой дорогой завернул Панфил во двор Евсея. Цедушка Евсей стоял среди двора еще неумытый, босой.

— Здорово почевал, Евсей Семеныч!

— Здорово живешь!

В ответ на поклон Панфила он кротко склонил седую, всклокоченную голову.

Сам нащупал рукой на узком поясе тяжелый ключ винтом и, отвязавши, протянул его Панфилу.

Тот принял и совсем было пошел, но снова обернулся.

— Ты, Евсей Семеныч, старикам-то тут наказывай, чтоб не разбродились потом. Да тихонько, смотри, чтоб не разгудело по деревне.

Старик даже обиделся.

— Не впервой, поди, тут караулю вас.

— Ну, я так ведь... Не серчай, Евсей Семеныч.

— Ладно, ладно. Вот обуюсь, приду.

Панфил открыл амбар, прошел в полутьме мимо длинного сусека и не без труда отставил в сторону две кедровых плашки, закрывавших маленькую дверь в стене. Тут спять тяжелый навесный замок. Долго гремел им, нащупывал ржавое отверстие, наконец, отомкнул и осторожно растворил скрипучую, расхлябанную дверцу.

Из темноты ударило прогорклой сыростью.

На верхнем косяке всегда лежал огарок. Панфил высек огня и, прикрывая рукой мерцающее пламя, переступил порог. Что-то жуткое хлынуло в душу. Всегда так с ним случалось. Дом божий! С трепетом входил он в этот дом. Желтое пламя, вилая дымным языком, едва боролась с темнотой. Огромная уродливая тень Панфила, перегнувшись, закрывала потолок и стену. Блеснули небольшим

квадратом стекла наглухо закрытых окон. Стройными рядами полусвета их пятен обозначились иконы.

Панфил подошел к узкому длинному налою. Тут же рядом стоял деревянный, токарной работы подсвечник. Заткнул в него огарок и трижды, широко крестясь, сотворил земной поклон.

— Господи Иисусе Христе, сыне божий...

Громким шепотом повторял он первые слова молитвы, высоко закидывая двоеперстие, и бесшумно падал на колени, ловко подстилая под руки и лоб углы кафтана.

Положивши малое начало, он погладил бороду в раздумье и с любовью посмотрел на длинный ряд тяжелых темных книг. Много их лежало тут, больших и маленьких. Все в обитых кожей толстых корках с медными застежками, все дониконовского тиснения. Панфил вынул аршинный кумачовый платок и старательно охлопал пыль. За детьми своими никогда он не ходил так, как за этими книгами. Столько в них правды, столько мудрости великой, не всегда понятной даже человеческому разуму! Уже не первое столетие идут они с рук на руки, уже обитые и сильно потемневшие листы их густо, обильно укапаны воском и с трудом читаются, а все же сберегли их тысячи любовно прикасавшихся к ним рук.

В амбаре загремело. Стали собираться старики. Первым, как всегда, ввалился, громяхая черемховым костылем, рослый и тучный Асон. С широкой белой бородой, до ушей облысевший, с обжигающим взглядом из-под нависших тяжелых бровей, старый строгий Асон уже привык к тому, что под веселую руку его часто называли пророком. Не сердился на это.

Войдя, он ловко кинул на пол мягкую большую шапку и, грузно падая на нее широким лбом и кулаками, сотворил иисусову молитву. Потом трижды в пояс поклонился ожидавшему того Панфилу, расправил бороду и, опершись обеими руками на костыль, покорно замер.

Вслед за ним то и дело стала отворяться дверца. Люди тихо и торжественно вставали на свои места. Старики все в черных церковных кафтанах, бабы — вшитых позументом покрывалах. Многие несли с собой самодельные желто-восковые свечи, клали их на книги, кланялись Панфилу, кланялись на все четыре стороны. Но ни слова, ни звука. Стоят, скрестивши руки на груди, и ждут. Лишь

из дальних рядов кто-то, не удерживая настроения, кончает вздохи страстным шепотом: «О, господи, господи!».

Панфил порывлся в книги, отыскал, что нужно, и уже несколько раз беспокойно оглянулся на дверь.

Но вот, сильно запыхавшись, проскользнул сквозь ряды стариков Панфилов крестник, Гриша. Он тоже в кафтанчике. Шили давно уже — сильно вырос из одежды, — а бережет ее, надевая только в праздник к службам.

Панфил укоризненно качает головой:

— Собирался уже начало класть... Где это шарился?

Гриша молчит. Он суетливо роется в книгах, чтобы не запутаться в службе, проверяет, на местах ли кумачовые закладки. Потом забирает пук тяжелых свечей и поднимается за дедом на амвон.

Вся стена уставлена иконами старинного письма по дереву и медными распятиями, складнями. Перед каждой вбит железный крючковатый гвоздь для свечки. Посреди иконостаса выделяется своей величиной распятие с цветной эмалью. Цены ему нет. Принесли из приволжских скиотов. Оно врезано в толстую доску, а в доске под ним есть потайник, где сохраняют крошечку святых даров. К нему к первому подошел Панфил, помолился и поставил самую большую свечку.

Прежде чем зажечь свечу, Панфил трижды кланялся иконе, а вместе с ним в пояс кланялся и Гриша. Обошли так все ряды.

Иконостас, обильно освещенный, не горел богатыми окладами, но строгие лики святых в желтых дрожащих лучах снова ожили, согрели храм.

Сейчас же приступили к службе.

Вели ее неторопливо и старательно. Панфил творил озгласы перед распятием, а за длинным налоем в ряд стояли вместе с Гришей трое стариков. Гриша успевал везде. Обученный Панфилом по псалтырю, он звонко отчеканивал фразу за фразой и, щеголяя ученостью, старался прочесть на вздох по полстраницы. Когда нужно было петь, он быстро кивал влево и вправо следящим за ним старикам, но дедушка уже затягивал мотив, и нудно-тягучее пение, сначала робкое, потом растущее, смелеющее, наполняло души торжеством. В хаосе старческих скрипучих голосов звенящий альт Григория был струйкой жизни, голосом жаждущей солнца земли.

Свечи сильно коптили и плавились. В храме станови-

лось душно. Уже в задних рядах одряхлевшие до слепоты старухи сидели на полу, бессильно вытянувши ноги, склонивши головы на грудь. Уже солнечный луч длинным серебряным прутом тянулся от окна к наложу, показывая, что пора вести к концу, а плотная толпа молящихся стояла твердо. Панфил часто клал поклоны и за ним, как один человек, наклонялась толпа. Только шорох пройдет и застынет.

Обходя ряды с кадильницей, Панфил пытливым всматривается в каждое лицо. Вот собрались опять. Значит, верят ему. Все тут — верные товарищи. Что сказать им? Как начать?.. Да разве не знают они! Но нечаянный взгляд через головы, дальше, поймал в темноте что-то странно-жуткое, досадное. Хрисанф пришел! Это он так смотрит. Это он всех выше. Рыжая, монетной меди, борода его чуть не лежит на ближней лысине. Не смутился, не дрогнул Панфил, в упор приблизился к Хрисанфу и трижды накрест окадил ему лицо. Взгляды встретились — смиренный, безбоязненный и гордый, упорно-настойчивый. Скрестились на один момент, а сказали много и понятно. Но никто не видел этого. Хрисанф кротко склонил голову, принимая благодать наставника, и даже не взглянул на него, когда тот отошел.

Окончили длинную службу. Толпа неторопливо удалилась. Лишь, как бы ненамеренно, задержались старики. Немного их, всего десяток, полтора.

Панфил прибрал моленную, задул огарки, разложил в порядке книги, поставил на полку кадильницу — и подошел.

Поздоровались молча, покряхтели, поохали.

— Немошен стал, — отозвался Панфил на сочувственный вопрос столетнего Герасима.

Немного задумался над этим, но сейчас же вспомнил:

— Дух тяжелый здесь. Стены страсть потеют, как народ соберется. С потолка все каплет... В амбарушку выйти, што ли?

— Пойдем, посидим.

— О-хо-хо! Прости нас, господи!

Обвели глазами почерневшие во мраке стены, сокрушенно помолчали и, покрестившись на безликие теперь иконы, вылезли в амбар. Дверь замкнули на ключ и поставили, как прежде, плахи. Все расселись по закромам.

— Припекает! — молитвенно-радостно сказал хозя-

ин. Он подошел лишь к концу службы. Вышел тоже раньше всех. Старший сын собрал его на пасеку. Посреди двора стояли в волокушах лошади. На длинных упругих шедах были увязаны колодки. Давно бы выехал: пчела не ждет, — да неловко как-то.

На правах хозяина он снял уже кафтан и, бодрый, довольный, со светлым лицом, присел на грудь хомутоз. Белая холщовая рубаша до колен, расшитая шелком, плохо закрывала отвислый живот, а густо волосатая грудь выпирала в прореху. Почесываясь то за воротом, то в бороде, Евсей нетерпеливо озирался и пыхтел.

— Пчела-то как? — спросили его рядом.

Он хлопнул пухлым кулаком по ляжке и посмотрел в ладонь, словно там искал ответа.

— Пчела работает. Пока с нее много не проси. Отощала, поправляется. Помоги только вовремя, да не пала бы помха, а она не обманет... Вот хочу поехать...

— Весна-то ныне — благодать! — не поднимая головы, скрипел дедушка Герасим. — Вот тоже... как заходили суды... по первости еще... весна стояла...

Он поперхнулся, закашлял и потерял свои мысли.

Молодое, огненное лицо солнышка смотрело через крышу дома. Старики, отдыхая, разомлели. Не хотелось двигаться и думать. Но Панфил нарушил отдых

— Весна ранняя — лето будет мокрое... Легче пройти-то по камням да пустыням.

Все обернулись в его сторону. Все знали, о чем он говорит. По привычке давно уже не называли то, к чему стремились, что носили в тайниках души.

— Ты это правильно... — степенно вставил Асон. — Убивство без дождя-то. Помнишь, поди, как?..

Он не кончил: в дверях, закрывая собой свет, неожиданно вырос Хрисанф.

Остановился у порога, снял черную большую шляпу.

— Здорово, отцы!

— Здорово ночевал, Хрисанф Матвееч!

— Будь при месте.

— Благодарим покорно. Сядем, што ли.

Он опустился на широкую бадейку, бросил шляпу на пол за себя и, упираясь кулаком в бедро, пытливо оглядел собрание.

Тонкого сукна кафтан его, шитый серебром по поясу, сидел плотно на статной могучей фигуре, на ногах были

богатые с тяжелыми гвоздями сапоги. Он всегда так одевался.

Хрисанфа боялась. Но в трудную минуту за спиной его пряталась, и он стоял скалой. Великая сила дана была ему. Лишь бы взялся Хрисанф, — не уступит, не свернет с дороги.

— Лошадей готовить, что ли? — без подвохов и обиняков загудел он.

Асон, опираясь бородой и кулаками в толстый набалдашник костыля, насупил лохматые брови.

— К тому дело идет. Вот послушать бы Панкратыча.

Панфил встрепнулся.

— Я што? Я за миром... миру послужу во славу Божию.

— От тебя не отступим!

— За тобой пойдем!

— Созывай, Панфил! Пойдем!

Голоса шумели. Панфил снова чувствовал свою силу. Но случайно брошенный взгляд в сторону Хрисанфа напомнил старое. Тот не уронил ни слова. Только улыбался снисходительно. И в мгновенном порыве к правде, к истине Панфил открыто посмотрел ему в глаза.

— Пошто молчишь, Христанф Матвееч? Али душа не лежит? Ране ты охочий был до этого.

Все испытующе смотрели на Хрисанфа, а он сидел все так же подбоченясь, только лицо стало серьезным.

— Не тебе бы спрашивать, отец. Пойти — пойду. Может, раньше вас поспею. А вот лучше спроси, по пути ли нам будет? Помнишь прошлый раз? Да. Помнишь? — Он начинал волноваться. — Разное мы ищем, Панфил. Несогласно пойдем, разобьемся. Тебе надо древние обители найти, ну, и помоги тебе господь, разыскивай, блуди во славу Божию в пустынях. — В крепком голосе его звучала насмешка: — А нам, грешным, обитель — не находка, ежели она не там стоит, где надо.

Старики забеспокоились.

— Не ладно говоришь, Хрисанф! — внушительно стукнул костылем распрямившийся Асон. — Не ладно! Не накидывай святому делу петли. Не засевай по верх зерна бурьяном. Разве ты с Панфилом не ходил? От отцов, от предков нам дано это. Есть такая обитель; старой правой веры русские люди основали ее; содержат ее; содержат там веру по старому виду, и священство там истинное и

епископство. Вот что! Слышал, поди! Найти-то трудно, а надо найти.

Хрисанф пожал плечами.

— Дело доброе. Да только давно ли разговор об этом повели. Пошто раньше не искали обителей? В нашем-то краю народу какого не шляется. Занесли молву, а кто занес, а ладно ли это?.. Пошто Панкрат-покойник не мутился?.. Земли вольные искал он — вот что.

— Истина поздно придет, да на первом месте сядет, — наставительно и кротно вставил Панфил.

— Истина! — взревел Хрисанф, багровея лицом: — Кнутом к ней не погонишь! У тебя своя, а у меня другая.

— Не захочешь — не поймешь, — все так же кротно говорил Панфил: — Сделай милость, поясни, куда тебя манит...

Хрисанф огоропел и, посмотревши на седую голову Панфила, весь опустился, размяк.

— Куда манит? — спрашивал он, обращаясь в воздух: — Да почем я знаю? Душа про то ведает.

Он погладил в раздумьи кафтан на коленке. В глазах уже не было ни злобы, ни насмешки.

— Нет нам места на земле. Каторжные мы. Нас гонят, нас ловят, будто дикого зверя, с трех сторон охотятся, а мы што?

Он замолчал.

— Надо бы того... с повинной... я давно говорю... — несмело вставил Евсей.

Хрисанф опять вспыхнул.

— Ну, пошто не идешь? Ну, поди!

Евсей виновато посмотрел на всех и, везде встречая укоризненные взгляды, поспешил оправдаться.

— Мне ништо. Вперед не вылезу. Как мир, так и я.

— Шея у нас толстая, — ехидно шурился Хрисанф, — не погнется для поклону-то. Надо в пояс кланяться. А в пояс поклонись, как бы лбом начальника не зашибить. Кулак тоже может зазудить не вовремя. Ишь, народ-то все какой. Возьми-ка вон Асона. Помекаю, на восьмой качнуло.

— Семьдесят девятый, — отозвался польщенный Асон.

— То-го вот и есть. А дедушка Герасим! Ему только глаза бы. А Николай Самсоныч, а Быковы! Да все! Дуб народ!

— Лонись, как Бабкины в Расее были, так, сказывают, мокрый там народишка, дря-яблый, — словно радуясь чему-то, смело выскочил тонкий Назар: — уж ежели под пятьдесят ему дошло, он помирать собрался. Мокрый народишка.

— Со зверями живем, — продолжал Хрисанф, — по-звериному и жизнь идет. Заелись, будто кони под белком. А ты спроси, куда меня тянет, кого я ищу? Почему я знаю? Душе неспокойно, ежели на месте сидишь да кругом тишина.

— Это ты правильно!

— Ладно, парень, сказал!

— Ушиб прямо в сердце!

— Опять и то сказать к слову: всякому свое любит. Волку дай темную ночь да дубровушку, а барану — хлевок.

— Правильно!

— Охо-хо!.. Чего уж!.. Так оно...

Старики оживились. В памяти вставали длинные поездки и скитания. Не было уже ни озлобления, ни старых счетов. Разговор стал шумным, зажигающим. Только дедушка Герасим, плохо слыша, о чем говорят, тянул свое:

— Не будет благодати, ежели не с добра пойти. Панфил-то он... того... с обетом... ему откроются, примут... Надо за ним, как за святой звездой... Хрисанфа надо... без него никак... Не можно без Хрисанфа... Выведет!.. Орел он!.. Хрисанф-то, говорю...

Слова его совпали с настроением и примирили всех.

— Кого тут толковать, — серьезно подхватил Асон, — рази кто об этом говорит? Несогласья не будет. Так, по-стариковски пошумаркали... Крепче дело выйдет.

— Вот тоже по первости... как суды заходили...

Но опять слова Герасима потухли в общем гсворе.

Наговорились досыта. Безмолвное согласие скрепило всех, сковало цепью. Но вперед никто не забежал. Это успеется потом, по избам.

Надо бы уже и уходить. Усталое тело давно просит покоя, а не хочется сдвинуться, вернуться к будням, к серой обыденщине. Редко удается так сойтись: все заботы о семье, о хлебе, а жизнь-то — вперед да вперед.

Евсей давно уже беспокоится: выехать время. Ожидает только, его кликнут обедать.

Панфил сидит против двери. Он не слышит затихающего говора. В просвете амбарной двери горит солнечный

день. По пятнам золотого света на дворе гуляют голуби, шныряют воробьи. Они громко славят жизнь и сами торопятся жить. У дверей амбара лежит старый черный пес, вылез из-под пола, натянул насколько мог свою цепь и греется. Голова его лежит на лапах. Глаза смотрят в одну точку. Думает он свои собачьи старческие думы, отдыхает, нежится. Белый статный петух подходит совсем близко, вытягивает шею, и, подставляя один глаз, долго, внимательно смотрит на пса, но, поймавши другим глазом в небе ястреба, вдруг пускает тревожную трель. Хохлатки стремительно выскакивают из вырытых ямок и, забыв даже отряхнуться, кривят головы, зорко смотрят в небесную синюю глущь.

По двору, от амбара к дому и обратно, часто пробегает дочь Евсея, Акулина. Она в пестром сарафане. Толстая коса повита бисером. Кисти пояса упали до подола. Собирая на стол, Акулина ради праздника несет и меду в сотах, и кваску медового, а мать — у печки: сторожит пирог с тальменем. Девка кипит и торопится: не опоздать бы на полянку. Выбегая из избы, она шибко дробит толстыми пятками по скрипучим ступеням и что-то напевает вполголоса. А перед дверью амбара, стесняясь стариков, проходит с серьезным лицом. Совсем постная девка. Но крутая грудь и во всю щеку краска выдают ее. Кто не видел Акулину на полянке! Первая затейница.

Проходя в последний раз, она приостанавливается и бросает чуть слышно:

— Тятя, обедать.

Евсей беспокойно передергивается, шарит острыми глазами по амбару и кричит вдогонку:

— Ну, ладно, приду.

— И то ведь, обедать пора! — вдруг хватился Асон. — Поди, ждет старуха-то.

Полнялись и пошли.

А Панфил будто застыл, замороженный золотом дня.

Жизнь-то! Вот она! Жизнь-то! Не убьешь ее. Под сараем, под крыльцом, на крыше! А люди-то — мимо да мимо. Топчут, в прах вгоняют. Все мнут и мнут, все им мало да тесно.

Что-то кралось опять в душу, крепкую решенным, отчего-то становилось беспокойно.

Но пропало все, потускло золото. Перед Панфилом вы-

росла фигура Хрисанфа. Тот стоял с безразличным, спячкойным лицом и, прощаясь, тянул руку.

— До виданья, Панкратыч! Пошел я.

Посмотрели друг другу в глаза и ничего не сказали.

IV.

Уже два месяца, как жизнь в деревне раздвоилась. С виду все идет по-старому. Встают рано, до солнца, работают, пока не подберет туман и не подымет над снеговым шпшом светило, потом обедают — и снова за работу. День за днем ложатся рядом, будто баба стелет холст: ни короче, ни длиннее — холстина к холстине.

Но под серой мутью буден зреет новое, яркое, тревожное, большое. Его радостно глинашизуют в сердце, хоронят от самих себя.

Всюду проникающей змеей ползет сплетня по деревне: «Беловодцы мутят, сухари толкут, суммы готовят». А беловодцы молча улыбаются: «Мало ли кого ни скажут! Килу бабе на язык не посадишь. Поболтают да устанут». И, чтобы не было соблазна, хозяйство ведут, как всегда.

Крепче всех сторожит беловодцев Гундосый Фома. Прошлый раз ему много прилипло. Распродавались — накупил добра за полцены.

Потянул и теперь.

Завернул мимоходом к Назару. То да се.

А Назар все юлит под навесом. Худосочный, длинный, он болтается в широкой рубаше, словно чужую надел. Бороденка серая, куделькой, волосы липнут ко лбу. Все торопится куда-то, не может на место присесть. Перетаскивает седла со спиц к подвалу, разминает просмоленные уздечки. А глаза-то будто зайцы по кустам.

Фома, облокотясь в колено, сидит тут же, под навесом, на сбрубке.

— Коровенок-то, слышь... не мотай, говорю.

Назар хлопает ремнем по толстому столбу.

— Что это, Фома Гаврилыч?

— Да коровенок-то, как в отправку, не бросай. Я за собой оставляю.

— А пошто мне мотать? Молочишко дают, ничего себе... Нет, коровы дельные.

Фома долго щурится. Наконец, раздраженно гугнит:

— Доить-то кто будет без тебя их, белка, что ли, станет?

Назар прыскает на столб:

— Ну, чудной же этот самый Гаврилыч!

— Да ты не пудляй! Загибать как пошел!

— Тоже выговарит!

— Чего петляшь? Кого хошь обогнуть? Знаю мы вашего брата!

А Назар, верно, не слышит. Переходит, копошится по темным углам и говорит, говорит, без конца:

— Пошто это люди врать умеют? Врут и врут — кабы что. То ли тесно им, то ли как? Не придумаешь сразу. Черт под баней выюшками стучит, а баба говорит: «К обедне зазвонили». Тут в работе жилы вытянул, а он в отправку собирает... Ты, Фома Гаврилыч, топором-то ловко мастеришь. Мне бы горницу к избе приткнуть. Баба все тоскует. Тоже в праздник Христов негде и гостей попотчевать. Ежели что, так и поеду лес сочить.

Тонко и вычурно плетет он свой узор, едва ли и сам себе не верит, да не проведешь Гундосого. Он презрительно меряет глазом Назара, чистит культиками пальцами сильно рваный нос, потом с сердцем плюет в землю и, забывая застарелую боль на иссеченной кнутом спине, срывается с места, домой.

Беловодцы свое делают. Лучше, испытанные кони наготове. Понашиты крепкие сумы. Сухарей насушили пудами. Мужики ненароком где-нибудь столкнутся и опять поговорят. Каждый на себя готовит, но мирских советов держатся. Бабы много шепчут по закутьям, да не все договаривают. Другая лишнее сболгнет, так задержают ее потом и свои и чужие.

Ко всему другому мужикам забота—Сенечка Бергал.

Почти все они сами того же заводского корня, да забыли уж об этом. Схоронили тяжелое прошлое вместе с тем, как хоронили отцов. Теперь все один к одному — и Бергал, темной ночью отковавшийся от тачки, и солдатский сын, и чернец с Иргиза — будто век тут жили. Сенечка пришел совсем недавно. Не пошел в деревню, сколотил себе избу под соседним шишом. Пасеку из двух колодок там завел, выкрал в дальних волостях трех киргизских лошадей, промышляет зверя. По-медвежьи живет, по-берложному. С мужиками разговаривает гладко, а бояться его. Все толкуют — не с добра тут дело. Заседатель зна-

ет и не трогает его. Почему так? Позабрали их тут сколько, все ущелины обшарили, а его будто не видят.

— С заседателем снюхался, вот и все нипочем. Сторожить его приставили.

Не могли забыть того, как прошлый раз нагрязнул заседатель.

— Ровно клин загнали — не позднее, не раньше. А кому же больше? Сенечка наворожил. Это он.

Уже за сорок стукнуло Сенечке, а все он — Сенечка. Никто и никогда не назовет иначе. Лицо Сенечки, избитое оспой, изуродовано во всю левую половину сильным ожогом. Еще в юности, случилось, подвернулся на заводе к какой-то машине, да не вовремя. Струей пара сварило, пузырем подняло кожу. Долго гнил и лечился молодой Бергал — ничего не помогало. Уже хотел — с заводской плотины вниз головой, да старуха Бугрышиха заживила рану куриным пометом на коровьем масле. Кожу на щеке стянуло в три кулька, а отгнившие веки на левом глазу так и не выросли, отчего белок, затянутый кровянымижилками, постоянно слезится и мокнет. Круглый красный глаз сделал ординарное лицо незабываемым и страшным. К тому же на ошпаренном месте борода растет клочками.

Болезнь разломала каторжную жизнь на две половины, и то, от чего раньше хотелось умереть под кнутами, живет теперь в сердце праздным воспоминанием. Тогда он был здоров, был такой же, как все, и вот умер прежний Сенечка — фатовый паренек, а вместо него плутает по свету старей, изувеченный Бергал, никому не пужный, всех пугающий.

Сенечка давно уже отвык делить людей на дурных и хороших, на добрых и злых. Все они в его глазах равны, все живут для себя.

Идет Сенечка по улице, а мальчишки, прячась за плетень, горланят с надсадой: «Сенечка Бергал, шел по улке да моргал! Сенечка Бергал, глаз на кустике продрал». Или, пробираясь за деревней, натолкнется на играющую молодежь, а девки прыснут в сторону и все охают пока не скроется из виду: «Напужал, окаянный! Думала, черт»... А другая над ней шутит: «Хошь, сосватаю?».

— Оборони господь!

Сенечка молча пройдет, не оглянется, не вздрогнет, только в сердце станет больше одной капелькой яда. Ко-

пит его Сенечка, бережно носит, будто казну дорогую, уже много-много накопилось.

В темные зимние ночи, когда, задувши сальную свечильню, лежит Сенечка на нарах под овчиной, грудь теснит и давит страшной тяжестью. И кажется ему, что скоро сбросит он проклятый камень, встанет во весь рост, здоровый, красивый и сильный, а камень с грохотом рухнет в долину и раздавит деревнюшку вместе с сытыми мужиками, краснощекими бабами, со скотом и со всем.

Жизнь идет отдельно от людей. И те, что внизу под ногами, и те, что в таких же деревнюшках, городах и заводах за туманным хребтом, все они, как муравьи: нагребли свои кучи, натаскали сору-мусору, кровью да слезами его полили. От рожденья до могилы копошатся в своих кучах: одни голодают идохнут, тогда как другие стоят над ними с толстыми ременными кнутами. А лица у этих — широкие, красные, рубаха без пуговки, точь-в-точь как у заводского палача Емельяна Игнатыча. Мир-то большой — не окинешь глазом с самого высокого белка, а земля вся складками, с высоты посмотришь — будто море волнуется, и в каждой складке — люди. Душно там стало Бергалу, омерзели люди. С горы теперь смотрит на них и смеется. А умрет—назовут эту гору Сенечкиной, как называли уже много по имени таких же скрытников. Гора, темная, большая, поросла до снегов непроезжими лесами, вся изрыта падями. Избушка Сенечки приткнулась одним боком к оголенному граниту, и не видно ее. Выйдет Сенечка к обрыву, взглянет на пол, на деревню, и тошно станет, как вспомнит, что опять надо идти за хлебом. А деревня-то лучше других: все отбойный народ, каждый сквозь огонь прошел. Да уж начали корни пускать, по-мужицки жить хочется: где ни ходят, ни ищут, а назад вернуться.

Пришел Сенечка в деревню попариться. У вдовы Агафьи городил плетень, так обещала пустить в баню.

На дворе суббота. Все идут—кто с реки, кто на реку—все с березовыми вениками. Бергал тоже наломал дорогой лохматых веток. Заглянул в проулок, а на речке шум стоит. По берегу курные баньки паром исходят от жару. В отворенные низкие дверцы мечутся красные фигуры, прямо от каменки да в ледяную воду. Вон под мостком, по пояс в плещущей валом струе, стоит разомлевший Хрисанф. Сенечка присел было за прясло, да тот уже увидел, окликнул его:

— Подходи под мостки-то попариться. Жжет тут, парень. Сверху и снизу калит.

— Может, мне и каменка найдется? — огрызнулся Бергал, выходя на ярочек.

Хрисанф плеснул воды на грудь и густо крикнул.

— К Агафье што ли? Та-ак.

Он подряд три раза окунулся и, спотыкаясь на гладко обточенных гальках, выбежал на берег. Бергала уже спустился к нему и присел. Его небольшая фигурка казалась бугром рухляди, прикрытой рваным зипуном да тяжелой бурой шапкой, из которой лезло во все стороны перо. Хрисанф стоял перед ним, напяливая белую рубаху, огромный и сильный. Одеваясь, он искоса взглядывал на Сенечку и никак не решался сказать того, о чем давно уже болтали на деревне, а тот повертывал в руках длинную красную гальку, внимательно разглядывая на ней каждую крапинку, словно делал что-то неотложно-нужное, потом с силой отшвырянул ее, вскочил и пошел.

Хрисанф собрался с духом.

— Вот што, Сенечка! Слышь!

Бергал вернулся.

— Ну, рассказывай. Каменка стынет.

— Вот што, парень... — сам застегивает пуговку у ворота и опять молчит.

— Ну?

— К тебе на гору с деревни ветром не напахивает?

Бергал испытующе прищурил глаз.

— Бывает случаем.

— Слышал, значит?

— Много слышу, еще больше вижу, с горы-то способнее.

— Та-ак. На казачий пикет, видно, весточку послал?

— Боле меня знаешь, пошто спрашиваешь? Пока не посыловал, а сорок мимо летает довольно. Не усмотришь за каждой.

— Брось-ка, парень!

— Чего это?

— Если хочется гулять по свету, брось. Пропадешь за гроши.

— Пошто так сердито?

— А вот так! Говорю тебе — значит надо. Мужики не попустятся. Сумленье ты нагнал большое. Сам понимаешь.

Сенечка закашлял от смеху. А Хрисанф одним шагом подвалился вплотную идохнул ему в самое лицо такой злобой, что в спине зазнобило:

— Д-дымом пустим! Против миру не ходи.

Бергал отступил и насупился.

— Не пужай, Хрисанф Матвеич. Меня этим не возьмешь: самого бояться.

Он оглянулся на деревню и перекинул веник под другую руку.

— Не тем зельем лечить меня взялся... Коней-то видел моих? Телом шелковы, а жилы — проволока. Не устанут, небось, впереди пойдут.

— К чему это ты?

— А уж там смекай. Хочу избу сиротой оставить. Тогда отпихнули, ну и вышло ни сладко, ни кисло. Теперь снова миру кланяюсь. Возьмут с собой счастье пытать — глаже дело выйдет. Заседателю мраку подпустим... Вот так-то, Хрисанф Матвеич.

А сам запахнул армячишко вглухую и пошел по берегу, шурша мелкой россыпью в ложбинках. Немного отошел и обернулся.

— Подумай хорошенько... А я коней-то кормлю...

Хрисанф, хмурый и косматый, все смотрел ему вслед.

V

Петровки были на исходе. Беловодцы собирались в поход.

Теперь часто на деревне видели Бергала: его брали с собой. По вечерам он бывал у Хрисанфа. Они подолгу разговаривали после ужина в глухом крылечке. Иногда подходили и другие мужики, чаще всех Асон с Назаром, но Панфила там не было видно. Прихворнул опять старик. Как-то тронется в путь? Не в последний ли раз?

Народу собиралось уходить немного. И Хрисанф и Панфил после долгих споров выбрали новый, неземый путь. Если все будет благополучно, можно выслать гонца; тогда и остальные тронутся. С семьей поднимались только двое — Назар да Анисим.

Сын Назара, Иван, с той поры, как стали говорить о сборах, все тоскует, ходит с темным лицом. Надо уважить отца. Как он там, один-то? Уже к старости дело, да и про-

сит пойти. Но как оставить Акулину? Не упустит Гараська. Евсей так и прочит ее за Гараську Фомы Гундосого, об осени свадьбу играть собирается..

Акулины не видно давно: на пасеку угнали. Это тоже не спроста. Не девичье там дело. Знать Фома с Евсеем уж по рукам ударили, а девку хоронят. И вдруг смертной тоской загорелся Иван. Всегда скромный и тихий, не умеющий ответить на Гараськины насмешки, он заметался, вспыхнул лютой ревностью.

Отдать Акулину? Никогда! Никому!

Повидать бы ее, да за белок, на пасеку, не ближний путь. Но вот Акулина вернулась. Пришла ночь: пешком, вся ободранная в кровь на россыпях.

На другой день под вечер вышла в ельник за деревней. Иван туда пробрался косогором.

Вот густая, до земли опустившая свои черные лапы, старая толстая ель. Здесь прошлым летом в первый раз они встретились один на один: ушли с полянки. Все дурили, смеялись, а потом присели отдохнуть, да и проболтали до ночи...

Скотская тропинка извивается в кустах веревочкой. Идти по ней легко. На душе так радостно и жутко. А вдруг еще нет Акулины? Ель-то вот уж, совсем близко.. Распахнул последние кусты и растерянно остановился. Под одной из старых веток, прислонясь к ней головой, сидела Акулина. Улыбнулась, расцвела во все лицо и молча хлопнула рукой о землю.

Иван опустился с ней рядом. Сам тоже такой ясный и радостный. Не замечает даже и того, что не сказал: «Здорово!». Акулина поправила на голове цветную гарусную шаль, повитую жгутом, и протянула раненые руки.

— Глянь-ка! Изукрасилась.

— Где это?

Она улыбнулась...

— Пошла с пасеки за ягодами... Ну, заблудилась по ключам-то... ходила, ходила да Собачьей речкой на деревню вышла.

— Соба-ачьей?! — ужаснулся Иван. — Ты ври-и!

Он с восторгом смотрел ей в серые глаза, и в памяти проносилась картина ущелья. Бурливая, порожистая речка... Острые утесы один за другим.... Между ними — россыпи, по которым нельзя шагу сделать, чтобы не скатиться вниз и не обрестись на сланцевых осколках. Ку-

сты, столетние коряги. Только собаки забегают в него да Бергал за козлами.

— Одурела девка! На деревню, што ли, команило? А?

— Не знаю.

Сказала уже без улыбки, но в этом «не знаю» было так все понятно и близко обоим.

Иван обнял ее за плечо и притянул к себе.

— Ой! Тихонько ты! Рука-то ноет, отбила на камнях.

— Рази где упала?

— Прямо к речке скатилась. Чисто всю исколотило. Коленки в кровь снесла.

Говорила тихим шепотом, уткнувшись головой ему в складки кумачовой рубахи.

Иван, забывшись, снова тиснул за плечо.

В сердце поднималось то жгуче-туманное чувство, с каким всякий раз он вспоминал Акулину. Сначала стыдился его и боялся. Казалось, что с ним только одним бывает так. Надо работать, а тут в голову нивесть что забьется и мутит, и кружит, будто пива медового выпил. Все последние дни, как ни работает, как ни устанет, а до вторых петухов не может глаз сомкнуть. Все стоит перед глазами Акулина — будто манит его. А то вспоминается, как на полянке отрезала она Гараське. Прилип к ней хуже липучки-травы, никак не отдерешь. Сам пьяный, все хохочет, скалит зубы, а как рядом сядет — за рубаху лезет. Дала ему локтем прямо в рожу.

— Отвались, окаянный!

Вспыхнул, загорелся Гараська.

— Тебе бы Ваньку подкатить?

— Да не тебя уж, чертов зятя!

— Так Ваньку?

И не утерпела Акулина, крикнула в слезах:

— Отвались ты, окаянный! Богом прошу!.. Мил он мне!.. В ковшичке воды его бы выпила, а тебе ни в жизнь не дамся.

Вся поляна ахнула: Гараська не спустит посмешища, не таковский он.

С тех пор оба боятся его.

— Ишь ведь дура, убралась как.

Акулина прижимается крепче. Так вот сидеть бы и день, и другой, никуда не уйти от Ванюшки, никого не видеть... А он откинул осторожно сарафан и гладит колени.

Рука нежно скользит по горячему телу. В голову ударило что-то пьяное, тяжелое.

Но Акулина спрятала колени, и разом все потухло. Понял, что не так теперь надо. Еще крепче прижал ее, а она упала головой в колени и, закрывая ноги сарафаном, повернулась лицом кверху, — всегда так делала, когда встречались здесь.

— Што на деревне? Сказывай.

— В отправку скоро... Раза два-то, может, и приду сюда, а потом уж...

Он с болью улыбнулся.

— Гараську приведешь...

— Ду-урной какой ты.

Акулина с обидой вздохнула и круто отвернулась.

Сквозь кусты черемухи ей видно в мелкие просветы у корней деревню. Избы все такие жалкие, не большие пчелиной колодки, и все серенькие, одинаковые. Солнце уже село за белком. Внизу тускнут, темнеют дружные деревья над речушкой. По дальним ложбинам ползет серая муть. Скоро поднимет ее из долины до самых белков. От деревни по ветру наносит жильем. Акулина смотрит на деревню, и перед ней встают все мелочи летнего вечера. Мать несет из погребушки молоко и озирается по сторонам: Пахомку ищет, а тот, наверное, у Петьки — в «Зелено» играет... Отец ходит по амбарам — щупает замки... Вот за ветлами изба Фомы. Жить в ней, чо ли, придется? С Гараськой.

Жутью и холодом пахнуло в душу. Будто подвели к обрыву и толкают. Едва передохнула, чуть не крикнула. Обернулась порывисто, схватила Ванюшку за плечи.

— Не останусь я тут, не останусь! Смерть мне без тебя... Возьми с собой!.. Не бросай!.. Ванюшка!

Он растерянно смотрел на нее.

— Да как это? Что ты, Акулина! Обумись!

— Нет, не останусь, не останусь! — с ужасом твердила она, обвиняя его шею руками.

— Пойдем вон куда... Поди, слышала, кто назад-то приходит. На смерть, можно сказать. Мужикам — за беду, а вашему брату...

— Там и бабы будут... с седла не свалюсь, хошь куда доеду.

Иван замолчал. Нежданной радостью пахнуло на него, будто нашел дорогую потерю.

— Я еще на пасеке все обзаботила. Лошадей двух возьму. Одну — Белку, помнишь по весне-то скинула? А другую — Каренького. Под седлом он хорош: зыб сюда, зыб туда. Добро. Можно выспаться... Приданные обе. Тятя сам благословил... Сухарей вот только... — Она задумалась. — А я муки нагребу полнехоньки сумины, да масла, да меду. Никого не об'ем.

Уже отхлынул страх, пропала нерешительность. Боялась сказать, а теперь так легко. Но Ванюшка все молчит. Наконец, словно проснувшись, засмеялся радостным свободным смехом и, обнявши ее сильными руками, при-тянул к себе.

— Ну, девка! С этакой не пропадешь! Беловодка голи-мая. Куда загнула! А что же Гараська-то? Как его? Зна-чит с горки, да вниз?

— Подь ты к духу вместе с ним, бергаленок окаян-ный! С души меня прет, как увижу его.

— Все не краше его, — с серьезным лицом протесто-вал Ванюшка, но каждое ругательство по адресу Га-раськи было слаще меду и хотелось слушать, слушать без конца.

— Не возьмут старики, — вдруг нахмурился он, вспо-миная действительность, — тоже с мозгом народ.

Акулина насмешливо сгримасничала.

— Дуру нашел! Кто-то пойдет к старикам. Обойдется без них.

— Никуда от стариков.

— Выеду с пасеки... Коней там теперь кормим. Тятя глазом не сморгнет, как я утянусь. Сумы в сопках схоро-ню накануне.

Иван блаженно улыбался, качал головой. Не было слов, и не хотелось говорить. Вот она, с ним! Разве может быть что-нибудь лучше! Разве не статней она всех, не кра-сивей! Перед ней все девки будто обглоданный коровами кустарник перед пихточкой, будто звезды перед месяцем. Досталось же счастье! Не всякому дается. Верно, бог бла-гословил. Вместе с ней и жизнь до могилы вести. Хозяй-ка — на завидаль. А как кичку наденет — заглядишься.

— Не оставлю. Пойдем,—в сладком волнении шепчет он, наклонясь к самому ее лицу, — женкой будешь... Де-душка обратит, не откажется.

В мертвой темноте еловых веток кто-то шумно шевель-нулся. Хрястнул сухим треском подломившийся сук. Оба

вздогнули и испуганно вслушались. Но вверху попрежнему — ни шелеста, ни ветерка.

— Али белка, али сыч, — догадался Иван.

— Ну его!

Сама, в неге, закрыла глаза и потянулась по-ребячьи, выгибая спину.

— И пошто ты такая? — чуть слышно спрашивал он.

— А какая же!

— Черт тебя знает... Голова с тобой болит без водки.

Уже сильно стемнело. Под горой, на болоте, старательно скрипит дергач. Невидимая крохотная птичка все еще пырскает в ближних кустах и, поднявшись на вершинку, без конца твердит свою несложную, звонкую песню. С полу, от речки, то потянет теплом, то пронизает сыростью.

Глаза у Акулины потемнели. Только вскинет их—будто омут откроется. Сладко и боязно искать его дно. Не оторвешься, не уйдешь. А сама огнем горит. Жаром пышет от тела...

Не заметил, как рука скользнула за расстегнутый ворот. Шершавая ладонь с дивной лаской легла на испуганно вздрогнувшую грудь и мигом потушила испуг, разбудила ее. Акулина положила свою руку сверху, придавила что есть силы, еще и еще. Пусть больнее будет, пусть потом дольше, дольше болит грудь, вплоть до следующей встречи... Глаза манят глубиной. Силы нет в них смотреть.

— Не отдам, никому не отдам!..

Шепот тонет в складках сарафана на груди... И оборвались слова, погасли. Все ушло назад...

Были только двое. Была тайна, великая, как мир, глубокая, как небо...

Черным тяжелым сукном лежала ночь в долине, когда они спустились по крутому склону к речке.

— Так завтра?

— Ладно, ладно, — соглашалась Акулина. — Только не припер бы Гараська... Ему на ухо нечистики подносят... Думала сегодня подкатится, да видно робить привалили.

— Поглядим, как придет! — с задором отзывался Ванюшка, ныряя в кустах. — На бергальят железко по руке найдется...

А заснувшая старая ель словно только ждала, когда подальше отойдут ее гости. Лишь затихли шаги, в ее плотных ветвях кто-то грузно шевельнулся, закачал их и пополз по стволу, ломая хрупкие сучки.

— На Беловодье собрались! — вылезая из-под ели, злобно хохотал Гараська. — Святую обитель отыскать!.. Блудить под елками!

Он оправил штаны и рубаху, постоял немного, что-то думая, потом плюнул на то место, где примяли траву, и, скверно, вычурно обругавши Акулину, скользнул в темноту.

VI

Никитишна безропотно несла через года свое горе, глубоко затаенное, никому неповеданное, и все привыкли видеть на лице ее застарелую, тихую скорбь. Словно схимница, принявшая обет невозмутимой кротости, плела она скучный, изо дня в день одинаковый, узор своей жизни. Но, много лет сбиравшиеся, тучи опускались на седую голову все ниже. Вот уже середина лета. Беловодцам скоро в путь. Папфил опять повесселел, помолодел и вечерами долго молится, а днем с утра хлопочет над дорожными запасами.

На воскресенье вечером, после горячей бани, Панфил ушел в моленную к вечерне. Никитишна долго чесала в крылечке свою голову роговым шербатым гребешком, перебирая на руках серебряные пряди, потом успела подоить, прибрать корову, обошла по хозяйству и уже накрыла стол для ужина, а старика все не было.

— Затянулся к Хрисанфу. Сговор там теперь. На другой, видно, хочет жениться.

Она горько улыбнулась своим мыслям, но сейчас же отпугнула их, как надоедливую муху, и пошла опять в несчетный раз по вросшим в землю, ее ровесникам, клетям и амбарушкам, всюду находя неотложное дело.

В сумерках вышла на улицу, села там на приваленное к стене бревно, и тут только почуяла тупую боль, боль в разбитом старом теле. Не хотелось уже ни хлопотать, ни думать о домашнем. Сидела маленькая, сгорбленная, неприметная, а по широкой улице плелись хмельные мужики. Их голоса—один задорно-высокий и требующий, другой глухо бухающий непонятные слова — мешались с настойчивым собачьим лаем. Видно было, как рослые, тяжелые фигуры без пути сорвались в темноте и то сходились носом к носу, то порывисто бросались в стороны.

— Он это кобылу-то мою! А! — икая и отплеываясь, звенел ржавой струной тот, что был выше. — Са-аловую! Может он понимать? А?

— Ца-аган! Язва его задави! — буравил тишину другой, и тяжкие слова его, как падающие с утеса камни, пропадали где-то тут же, словно уходили в землю.

— Вот! Ты хорош... хороший человек, Петро Степаныч... тьфу! Вот!.. Я ему грю... горю ему... нне-ет, брат, нас за это место не уку-у-сишь. Верно? А! Верно я говорю?

Тени подвигались медленно. Никитишна старалась разглядеть, узнать их.

— Ишь, назюкались благословленные. Другого-то никак не вспомнить... Ах ты, матушка моя, да это ведь зять Бухваловских! Приехал, видно. Вот Бухвалиха его накроет.

Никитишна вздрогнула: она и не заметила, как подошел Панфил.

— Заждалась, поди, к ужну?

Голос у него был кроткий, извиняющийся.

— Ну, дак время уж, мотри. Народ, однако, весь отужинался.

Хотела выпросить, куда ходил, да по привычке промолчала. Покряхтела, тяжело поднялась, опираясь костяшками пальцев в бревно, и пошла за Панфилом.

В крыльце они оба едва взобрались по скрипучей крутой лестнице и оба говорили старые слова о том, что надо бы подколотить расшатанные доски, подпереть их снизу, да уж вместе и всю избу обиходить к осени. Изба высокая, хорошая изба. Один лес кондовый чего стоит — рубили старики на выбор, когда деревню заводили — пол и потолок из аршинных, расколотых надвое бревен. через сто лет не погнется. Но не доходят руки.

— Суета все: то да се, — хозяйственно говорил в темноте Панфил.

Так хотелось верить этим простым мужицким словам, и Никитишна верила, опять надеялась на что-то радостное, светлое.

Отыскавши привычной рукой на полочке сальный огарок в самодельном подсвечнике, она ощупью попала в отворенную дверь и, пока дошла до печки, натолкнулась на Панфила, тихо творившего у самого порога краткую молитву, запнулась за полено, наступила на хвост кошке.

— Прости, господи, чисто без глаз. У-у, изжаби те, хвостатая!

Но и в брани было больше благодушия, чем злобы.

Она быстро раздула на горячей загнете лучину, и, как только вспыхнул огонь, мухи шумно снялись разом с потолка и со стен и бестолково закружились по избе роями. Тишина ушла куда-то в уличную темь.

Оплывшая свеча горела беспокойно — черная светильня загибалась, обвисала, и пламя исходило копотью. Пушисто-серые ночные мотыльки, ворвавшись через выбитое стеклышко, доверчиво летали вокруг пламени, садились на него и, обожженные, беспомощно крутились по столу на спинках. На них наползали медно-золотые тараканы, останавливались, мудро шевелили тонкими усами и, испуганные, быстро убегали под столешницу.

Никитишна, не затихая, шваркала ногами по полу. Панфил сидел на лавке. Утомленный длинным хлопотливым днем, он отдыхал. Мысли о том, большом и значительном, все еще властно проходили в голове, но старуха бросила с шестка тяжелое полено — и все пропало. Панфил вздрогнул и вгляделся в угол.

— Что она там? Все хлопочет, день-деньской не уймется.

И, как гость, давно не бывавший в этой чистой и теплой избе, он оглядел все стены, печку, потолок. Все было такое же, как у других, но откуда, когда и как попало оно в избу, этого Панфил не мог сказать: все это шло мимо него. Особенно странными казались ему пестрые, расшитые причудливым узором, рушники. Спускаясь по стенам от потолка до лавок, они придавали избе нарядный, хозяйственный вид. Сама ли вышивала их Никитишна, иль нанимала девок за ведро медового квасу для парней на вечерке — никогда об этом не подумал, не спросил, да и самые полотна — хотя видел их каждую минуту — разглядел только теперь.словно незнакомую, рассматривал он сгорбленную, одряхлевшую фигуру старухи в подогкнутом за пояс темном сарафане, с головой, повязанной по кичке теплой шалью. В душе родилось что-то теплое, хорошее, и крепко захотелось сказать его, поделиться думами, спросить совета, но Никитишна, подойдя к столу с ковригой хлеба, посмотрела упорно в глаза, готовая спросить бог знает о чем, и он мгновенно встряхнулся, выбросил из го-

ловы житейское, опять наморщил лоб. А за ним потухла и Никитишна.

За ужином, неторопливо черпая из чашки горячие постные щи вприкуску с перистым зеленым луком, они скупно говорили малозначущие обиходные слова.

— С конями неладно у Хрисанфа, мокрец навалился... Мается теперь, подлечивает.

Никитишна насторожилась.

— Был там, видно?

Панфил низко нагнул над чашкой, разыскивая мелкие куски картошки.

— Был... старики потолковать собирались.

Он тихо улыбнулся и покачал головой.

— Беда с этим Евсеем. Разговору много, а того гляди останется. Опять на пасеку уплелся.

— Как ему не утяться? Добро блюдет, — горячо сказала Никитишна, и в словах ее был нескрываемый укор. Но, спохватившись, она мирно добавила: — Куда ему! Настасьюшка заточит, съест, не пу-устит Настасьюшка.

— Вот, скажи, взяла силу баба, — самому себе говорил Панфил. — Кажись и немудреная, а по-мужицки правит.

«Таких-то не бросают, — думала Никитишна. — Вот увязаться бы, так и ты подумал бы... Сказать ему? Рассказать, как живу тут одна-то, как побираюсь? Докуда маяться? Случись — умри, и глаза прикрыть некому»...

Но пока собиралась с мыслями, Панфил наелся. Облизнул надломленную ложку, заглянул в нее и положил перед собой горбушкой кверху.

— Слава тебе, господи... Досыта...

Длинные желтые пальцы, сложенные в двоеперстие, опустились птичьим клювом на высокий лоб и, на мгновение задержавшись, быстро побежали по плечам, на живот и обратно.

Никитишна смотрела, как он крестится, как истово и просто шепчет длинную молитву, и опять он был перед ней чужим, далеким, мирским избранником, опять она боялась и не знала его.

— Собирался народ-то, — медленно тянул Панфил, отодвигаясь по лавке к окну. — Уж к одному бы, а то тянут и тянут. Там, гляди, опять рассохнется все дело.

Никитишна взглянула искоса и вытерла горстью сморщенные впалые губы.

— Кто идет-то?

Она знала, кто идет, но так хотелось разговору, открытости.

Панфил посплюнывал пальцы, сощипнул нависшую светильню и вытер руку о подол рубахи — все медлительно, спокойно.

— Идут немного. Асон в первую голову, — он загнул к ладони тонкий длинный мизинец, — Хрисанф — это два, потом — Анисим с бабой, Назар с бабой да с Иваном... вот. Бергал еще путается. Не к добру этот, да Хрисанф восстает за него.

Он поцарапался, собираясь что-то сказать, и обернул лицо к старухе.

— Бабы, вот идут... ничего себе, думают справиться. Может и пройдем... Куда здесь одной-то?.. Тоже ведь ни как-нибудь двинемся, с припасом да с оглядкой...

Дрогнула Никитишна, совсем поверила, да нет — не те слова, не так надо звать.

«Куда тебе со мной! Поперек дороги стану», — обидчиво думала Никитишна, едва прожевывая корку.

— Ну да и вправду, — живо закончил Панфил: — хлебнешь там горечка, какого и не видывала. Сперва проведем, да тогда уж всей деревней... Вернее будет.

«Испугался, думал стану проститься»...

Никитишна сдержала подступившие слезы.

— Ступайте с богом. Где нам, грешным, всем-то.

Скорей встала и загремела опять посудой в закуске, стараясь не показывать лицо к огню.

Ночью Никитишна не спала до вторых петухов. Тихо лежала она на скрипучем голбце, а на ум приходили такие жалостливые слова, что бороться со слезами уже не было сил, и они бежали ручейками по щекам и по носу, обильно смачивая изголовье — лохматый овчинный тулуп. Никитишна боялась громко всхлипывать — не услышал бы Панфил на полатах — старалась спрятаться лицом в густую кислую шерсть. Жизнь расстилалась перед ней бесконечной пестрой полосой с горем, с радостями, с незаживаемыми до старости ранами, и то мелькала солнечным пятном веселая вечерка, где Никитишна — румяная Машенька — до смертной усталости отплясывала перед парнем, то ненастной хмурой ночью наплывала сиротская доля. Тошно и темно становилось тогда на душе

и хотелось плакать голосом, плакать громко-громко, в тон той мухе, что с самого вечера звенела в паутине под матицей.

VII

Петров день выдался мятежный, нерадостный. Не ходили по улицам девки, шеголяя бисером и лентами, за ними не следили парни и не гремели дружным хохотом, подкарауливши врасплох неразлучных подруг. По завалинкам — пусто. А солнце, как нарочно, не торопится. Купает землю в жарком золоте, белыми ключами гонит с гор снега. Высоко-высоко ушло оно в небо от студеньих вершин и кажется, что никогда ему оттуда не вернуться.

Но за сборами, за предпрощальной суетой не заметили, как круто повернуло солнце книзу, как сменился знойный день прохладным вечером, как поползла из глубоких щелей тихая черная ночь, закрыла пади и вершины гор, схоронила землю до утра.

Беловодцы тянутся гуськом по косогору. Деревню пока еще слышно: она сразу за речкой. Разбуженные необычной суетой, собаки лают тревожно, настойчиво. Кое-где виднеются огни — такие неуверенные, слабые. Кажется, что огоньки перебегают с места на место. Мелькнет то здесь, то там и вдруг потухнет, а то разом вспыхнет их несколько — перемигнутся, дрогнут, и опять не видать. Всадники часто оборачиваются и, не замедляя шага лошади, ловят эти, будто им кивающие, огоньки. Тревожная тоска сжимает сердце. Все оставили — родню, хозяйство, теплую толстую печь...

В голове стоит еще прощальный плач, с которым провожала их деревня. Вспоминаются отдельные выкрики из темневшей на другом берегу толпы, когда уже перебродили речку. Много было слез и суеты. И друзья и недруги, словно по сговору, собрались проводить. Сплетни и дразги забылись. Ни к чему это в такое время. До того ли!..

Теперь толпа уже расходится. Идут по улицам группами, толкуют о них, вспоминают Панфила, как он совсем по-особому кланялся каждому в ноги... Запирают наглухо ворота, стелятся, ложатся спать.

Не отгонишь мысли о деревне.

Друг за дружкой, молча едут всадники. Растянулись

по крутому кособору от подола до середины. У каждого по два коня, завьюченных тяжелыми сумами.

Когда выступали, впереди поехал дедушка Панфил с раскрытым медным складнем на седле в коленях, а теперь продвинулся Хрисанф. Старику-то где же! Повернет неладно, а потом выпутывайся по тропинкам. В середине одна за другой качаются в широких седлах Дарья — Назарова баба, да Анисиха Василиса. Грузными клочками увязли они в седлах — не сшибешь, не стащишь. Обе вволю наревелись и дуются теперь на кого-то, будто их кровно обидели.

Огоньки пропали. Косогор все круче забирает вправо; выше и плотнее становится лес. Но все это пока еще — свое, родное. Василисе даже кажется, что она отправилась всего только на пашню, и сейчас же вспоминается действительность. Она вздыхает глубоко и оборачивается, стараясь разглядеть на извивах тропинки лошадь мужа, а разглядевши, сдержанно кричит:

— Анис! А! Ты это, чо ли?

— Ну, кого тебе?

— Ладно, ладно, поезжай... Я так.

Голос у нее низкий, грудной.

— Подпруга-то не хлябает? — допытывается Анисим. Не поймет того, что бабе только надо было слышать его голос.

Василиса отвечает нехотя:

— Ничего пока, держит... Сам заседлывал...

Но, минуто спустя, ей уже хочется использовать непривычную заботливость.

— Сумины вот ерзают. Быдто на бок тянет...

— А ты поддергивай... Слышь? Поддергивай, говорю...

Тетка Дарья откровенно хохочет.

— Иззаботила совсем!..

Она закидывает голову и звонко кричит:

— Сядь ты с ней вместе на рыжуху.

— Неловко на седле-то, — в тон ей отзывается Анисим.

Да, знать, не вовремя с шутками вылезли. Никто не откликнулся веселым словцом.

Под горой бежит речка. Ее ропот, чем выше дорога, сливается в баяюющий ровный шум, и, если долго слушать, то начинает казаться, что там шелестит густой камыш под ветром. Но ветра нет. Он гудит по снеговым вер-

пинам, а внизу, как в яме — не пахнет в лицо, не дрогнет глубоко заснувшая трава. Лес черный, пугающий, застыл в своем молчании. Стволов не видно. Они тонут в непроглядной темноте, и лишь те, что стоят подле самой дороги, изредка рисуются прямыми толстыми колоннами. Там, где колонны подступают к тропинке вплотную, набитые туго сумины, то одна, то другая, шебаршат по корявым стволам. А под плотным навесом листвы — одна сплошная заросль кустарников и борщевика. К самым седлам тянет свои крылья папоротник, сверху кроют широкими лапами листья гигантских борщевников, а тяжелые шляпы их тонут в хвое нижних веток. Небо опустилось на вершины огромных деревьев. В редкие просветы между ними оно блещет крохотными огоньками. Звезды — как оконца. Через них на заснувшую землю брызжет тонкими лучами свет того неведомого мира, что закрыт от суетной земли непроницаемой завесой. Как там ослепительно светло! Как радостно!

Панфил, качаясь на стремях, поднимает глаза к небу, но не с жалобой и не с мольбой. Ничего ему не надо. Ликующим смехом смеется душа. Будь один — запел бы вполголоса, как любил это делать всегда, священные стихи, да на людях не умеет, и не хочется. Не верил все, казалось, что конца не будет сборам, и вот тронулись. пошли. В последний раз! Назад он не вернется. Он это знает, как точно знает и то, что Беловодье будет найдено.

Панфил молитвенно смотрит на звезды.

— Господи, господи! Благодарю тебя, всесильный.

Он бодро выпрямляется в седле, вдыхает полной грудью свежий воздух и начинает охорашивать коня. К седлу на длинном поводке привязана другая лошадь. Она покорно тянется в хвосте, Панфил потрогал ее повод, повернул кафтан под ноги и, невольно дрогнув от ночного холодка, опять сгорбился, ушел в свои думы... Никитишна? Пошли ей, господи. Ни роду, ни племени. Всех ребят схоронили... На кого осталась? Старуху уважают, да уж все не то. Перестала роптать. На проводниках шибко убивалась, а не сказала поперек ни слова...

Панфилу вспомнилась вся жизнь, и до слез стало больно за старуху. «Как дойдем на место, надо вывезти ее». Мечты захватили его, понесли через пустыни. Чудилась новая опрятная деревня. С того лета заживут они уже по-новому и никуда, никуда он не уйдет из дому.

Только бы обет исполнить, а там можно и пожить спокойно.

И вдруг обжигает огнем. Дьявол это путает. Про деревню шепчет, окаянный, да про теплую избу, отводит от обители. Нельзя, нельзя! Обитель прежде...

Его будит бодрый оклик сзади. Назар тоже вспомнил проводины и хлопоты старосты.

— Василий-та! А? Ладно коробок запел? Быдто ничего себе не знает, прилетел на речку: «Е-етто кто тут? Куда сбелились! Опять за границу? Без пашпорта? Сейчас вернись, не то с пикета поворотят!...».

Назар подражает густому басу старосты, и это выходит забавно. Все смеются, но не столько над Назаром, сколько тому, что Василий так умно увернулся.

— Ему тоже, брат, спину покрывать берестом не по ндраву, — хохочет в темноте Анисим. — Заседатель прибежит: «Чего смотрел, староста! Беловодцам потакаешь. Ложись! Втесать ему сотню березовых!»... А теперь ему што! Вестовой по утру на пикет поедет — так и так...

Хрисанф слышит разговор и молчит. Он едет впереди на молодом, задорном жеребце. Жеребец, волнуясь за кобыл, идущих сзади, часто косит туда глазами и чутко слушает родную поступь. Хрисанф, подбоченясь, все смотрит и смотрит в таинственную темь, и не темную ночь, не небесные оконца видит он — видит жаркий, сияющий день, огромные неведомые горы, а за ними необъятный простор... На гряде холмов, встающих поперек дороги, показались всадники. Они машут руками, кричат и бегут врассыпную... Хрисанф понесся им наперерез.. Вот, вот!.. Не уйдут!.. Быстро вскинул ружье и прицелился. Гулкий выстрел толкает в плечо. В голове зашумело. Лошадь спотыкается о подкатившийся под ноги труп киргиза... Собака, живучий! Зевает!.. Надо лошадь поймать. Неужели покупать их тут?..

Но и в самом деле жеребец неловко спотыкается о придорожный камень, падает на колени и, испуганно взбросивши голову, сбивается с мерного шага на рысь. Едва усидевший Хрисанф натягивает повод так, что лошадь скалит зубы и мотает головой. Он вполголоса ругается и вслед за тем зычно кричит:

— Куда смотришь! Глади у меня! Нно!.. Ты!

Жеребец, словно стыдясь за оплошность, начинает еще больше нервничать.

Выше и выше дорога. Уже обогнули всю гору. Лес окончился, открылась падь. Она темнеет слева бездной, а справа — оголенный давними пожарами, крутой, высокий склон. По нему кое-где торчат мертвыми столбами обгорелые пни. А выше гладким-гладким скатом тянется он к небу. Не найдешь ему конца. Дорожка мягкая. По сторонам ее двумя невысокими стенами стоит темная густая трава. Лошади срывают на ходу лохматые пучки и, переваливая языком железо, жуют громко, старательно. Они быстро отдохнули от лесного подъема. Теперь целых пять верст до самой вершины речушки — все по склону, не ниже, не выше. Люди, зная это, распустились в седлах. Теперь не надо поминутно наклоняться, отводить руками ветки, лбом не ударишься о корявый сучок. Над головой — простор. Мерцающее тысячами огоньков, опять ушедшее в свои высоты небо так величественно и спокойно, что под надежным покровом его невольно хочется закрыть глаза и чуточку вздремнуть.

Все уже давно молчат. Только в последнем звене неумный Назар чуть слышно наговаривает что-то лошади. Асон едет вслед за ним. Он беспокойно поворачивается в седле, подолгу щурясь в темноту, и, наконец, окликает Назара:

— Погляди, што ли, парень...

— Чего это? — беззаботно отзывается Назар.

— Да погляди, мол... Ровно бы Бергала не слышать.

Назар тоже смотрит и смеется:

— Куда ему деться?.. Ползет... Эй! Иванша, — весело кричит он через голову Асона: — Сенечки не слышно?

— Туто... едет, где-то совсем близко, — говорит Иван, но так неприветливо, словно его разбудили не вовремя.

Назар как будто хочет оправдаться.

— То-то! Не завяз ли, мол, где... Ишь ведь ноченьку-то бог благословил.. Ежели чо с конем неладно — не распушаешься.

Асон неодобрительно ворчит.

А Бергал придерживает лошадь. Одному свободнее. Бодро и чутко сидит он в седле. Не проронит ни слова. Все слушает, но не людей — от них он ничего не ждет — душа его слушает дивную ночь. Много их, мертвых ночей, провел он один на один, да эта совсем не такая. Она сулит что-то опять, рассказывает, как ребенку, жуткие дикие сказки... Жизнь ломает эта ночь...

Дробным шагом идут лошади, позвякивая серебром на седлах. Внизу, по подолу горы, шумит невидимая речка. С пади тянет сыростью и потому все больше зябнется.

VIII

Речку извершили только к свету. Перевал был тяжелый, но свежие кони осилили. Все осталось внизу — без устали бегущие потоки, темные леса, хутора и деревни — все утонуло в океане мутной мглы. Над головой — предутреннее, стали подобное небо. Под ногами — красная, бесплодная земля. Широка и покойна поднебесная лысина, едва прикрытая лоскутьями снежных ковров. Лишь в одной стороне, неподалеку от дороги, торчит уродливым наростом каменный утес, а под его защитой уцепились крепкими корнями и живут три кедра-карла, три околдованные небом смельчака, дерзнувшие перешагнуть земные грани. Ветви их ушли в сучки. Вся жизнь малюток-стариков — холодна и скучна. Выросшим под дикие песни метелей, непонятна им нежная песенка случайно залетевшей птицы. Но над ними, на старом утесе, часто отдыхает свободный орел...

Мутные, растрепанные клочья сырого тумана, вырываясь с ветром, быстро проплывают по земле и исчезают в пади. На зябком сквозняке прохватывает дрожь. И люди и лошади спешат к привалу. Вот только бы пройти седло, спуститься к полосе лесов.

Когда шли мимо кедрачей, Ванюшка приотстал, свернул туда и осмотрел внимательно сучки.

— Много шишок-то набил?.. Угости, што ль, орехом, — хохотал Назар, когда тот вернулся.

Ванюшка, чем-то сильно обрадованный, скалил зубы и молчал, пряча в пазуху завязанный тремя узлами кумачовый лоскут.

Дорога скользнула в уклон. Уже скрылся за седлом утесик. Внизу обозначается вершина речки. Тропинка сначала несмело огибает крутые места, но вдруг падает и вместе с ключом, не отступая от извилистого русла, уходит по щели в долину. Земля тинистая, слабая, напитана ключами. Коня подтянулись. Они зорко смотрят в землю, пробуют копытом, где ступить, и, сильно приседая на хвост, с тревожным храпом, то скользят по мокрой глиня-

ной катушке, оставляя вытянутыми передними ногами глубокие борозды, то дробно чмокают копытами и подбигают зад. Люди опустили поводья, предоставили себя уму и ловкости животных. По сторонам опять встает стеной тяжелая под утренней росой трава. Редко кто ее тревожит — наклонилась над тропинкой и купает до колен ступней влагой, пробивая армяки и кафтаны.

Но вот ключи слились и идут уже бойкой речушкой, оголяя груды мелких валунов. Дорога все отложе, и скоро глинистые кручи остаются сзади.

Опять начинается лес, — чем ниже, тем строже и гуще. Тропинка то и дело опускается к воде. Идти по грудам скользких камней трудно, тяжело. Холодная, белесая во мгле, вода бурлит и мечется. А над рекой уходят в небо острыми вершинами ряды вечно парадных пихт, многостолетних лиственниц, уютных, пышных елей.

Ночь медленно идет к теснинам гор, а вслед за ней с одиноких подзвездных вершин опускается утро. Небесные ночные огоньки бледнеют, тухнут в сером свете. Небо — холодное, мертвое. Местами по нему ползут гуськом, черневшие в ночи провалами, а теперь такие белые-белые небесные лебеди, и на глазах людей творится чудо — свет рождается в самом себе. Порозовели лебеди и вспыхнули. Совсем уже светло. Пропала тайна леса. Он проснулся, начал длинный, яркий день. В его тени запели птицы. И земными переливами полутонов играет воздух. Еще не видимое, солнце на шпили утесов, на вершины снежных гор кидает пятна краски. День идет царственной поступью. Он близко, он подходит! Из-за дальнего гребня, четко вычертившего свои зубцы на огненном небе, поднимается солнце. Оно бьет прямо в глаза, слепит и заливает падь...

Хрисанф, щурясь, подставляет руку козырьком и смотрит на дальний лужок. Там, подле черной ели, виднеются две лошади. Он бессознательно натягивает повод.

— Погляди-ка, Панфил.

И не успел Панфил оглянуться, как жеребец, насторожившись, заржал звонко и радостно, сильно подбигая брюхо.

— Кого это закинуло?.. Не Афанасий ли с маральников тянется?

— Афанасию зачем? — протестовал Хрисанф, — никак не по пути.

Забота перекинулась другим, и все, приподнимаясь на стременах, смотрят вдаль.

Иван ерзает в седле, оправляется и попусту кричит на соловка.

Нехорошая встреча. Свои все дома, значит, заехал чужой. Но после коротких размышлений, снова прибавили шагу. Вот под деревом и человек виднеется.

— Баба! — не то удивленно, не то торжественно кричит Назар. — Правильно! Баба!

— А лошади Евсеевы, — добавляет Хрисанф.

Все забыли усталость. Ожидание встречи было жутко и радостно. Ведь совсем ушли от людей и от мира. Ночь за ними бросила тяжелую завесу, навсегда отрезала, и вдруг — живой человек, кто бы он ни был.

Когда спустились в ложбину и от елей остались только стройные вершины, любопытство сделалось мучительным. Наконец, поднялись. Задорно и приветливо заржали лошади.

— Акулина! — вырвалось у всех.

Она лениво поднялась с разложенных сумин. Стоит, потупясь, неуклюжая, толстая, в широком зипуне, крепко стянутом мужицкой опояской. Сбоку в ножнах длинный нож. На голове глухой повязкой шаль.

Обступили ее. Бабы лезут вперед.

— Господи Иисусе! — шепчет Василиса и сейчас же испуганно спрашивает:

— Ты откуда, девка? А?

Молчание.

— Гляди, гляди! Две лошади! Сумины! — насмешливо тыкает плетью Хрисанф, не замечая Акулины. Он уже понял, в чем дело. — Совсем беловодкой обрядилась. Верно, Евсей за себя посылает.

Но он быстро меняет тон и, слегка наклонясь в седле, говорит повелительно:

— Укладывайся-ка, деваха! Вот что!.. Завьючить поможем... Укладывайся, да качай до деревни. К вечеру подъедешь. Не моги у нас. Без тебя запутаемся...

— Да ты того, постой... — нерешительно перебивает Панфил, — может, ей чего-нибудь... Кто ее знает...

Акулина поднимает кулаки к лицу и голосит:

— Дя-яденька-а Хрисанф!.. Пойд-ду... Ей-богу, ну, пойду-у.

— Куды-ы ты пойдешь? — орет Хрисанф. Он хочет сказать что-то еще, но плюется и кричит:

— Ходу, ходу! Пошли!

Сам круто поворачивает лошадь на тропинку.

Но Назар протестует:

— Девку бросить, што ли? Как она? Одна-то.. Ты пошто, Акуляша... убегла?

Голос у него добрый, отеческий, и Акулина не выдерживает. Она громко всхлипывает и, опять обращаясь к Хрисанфу, зовет:

— Дяденька Хрисанф!

Знает, что вся сила в нем.

А он:

— Хрисанф! Хрисанф! Кого я тебе?

Молча оглядывает ее и презрительно смеется:

— Са-аплюха!

Как под струей холодной воды, Акулина вздрагивает, отнимает руки и, ни на кого не взглянув, садится на сумы лицом к дереву.

Панфил качает головой и ласково ворчит что-то под нос. Асон хмуро смотрит под ель и, тяжело дыша, собирается сказать свое громкое слово. Но Ванюшка разбил нерешительность. Все сидел в седле, как на иголках, краснел и уклонялся от пронизательного взгляда отца, а когда заметил, что мать неодобрительно поджала губы и вот-вот метнет Акулине обиду, вскочил с седла и, сильно хромя на затекших в дороге ногах, весь красный, какой-то не свой, подошел к Акулине, поймал ее за руку и потащил повелительно к отцовской лошади. Девка ошалела, смотрит и не знает куда. Иван не видит никого. Перехватило горло. Пал на колени, увлекая Акулину, дуется, хочет громко сказать, а голосу нет, как во сне, когда гонятся волки или медведь насаждает. Наконец, сказалось.

— Тятенька!.. Мамонька!.. Благословите!

Акулина смутилась, потеряла с лица и мольбу, и урюмость, смотрит в сторону, будто ищет, куда скрыться. Иван что-то лепечет, но никто не слышит его слов. Все это кажется таким несуразным, неожиданным. Хрисанф, не скрывая любопытства, подвигает лошадь и, лихо подбочиваясь, как-то особенно лукаво смотрит Назару в глаза. Тот поперхнулся, поглядел на всех и, мгновенно входя в роль, застрожил:

— Ты мне сын али нет? А? Сын ты мне али нет? —

И, воображая, должно быть, отрицательный ответ, еще больше повысил голос: — Ты этого... того! Не можешь! Вот што, приятель!

Дальше он не знал, что сказать, да и не хотелось говорить. Он давно все видел и давно мечтал ввести в дом Акулину, породниться с Евсеем наперекор Гундосому, но все это представлялось необыденно-праздничным, «как у всех», с двухнедельной гулянкой, шумом, суетой и, главное, дома, а тут выходит вон что... Боролись два чувства. Но вспомнивши, что на него, на отца, теперь все смотрят, опять закуражился.

— Поперек еще лежишь!.. Можно разговаривать... Посмотрим! — взвизгивает он, болтая рукой.

Акулина вырвалась и убежала к дереву, уткнулась головой в сучья, словно прячась от великого позора.

— Посмотрим, как ты это без отцовского-то без благоговения управишься..

И не понял Иван отцовского сердца. Вскочил, затрясся, чуть не взвыл.

— Я тебе собака? — закричал он в морду Назаровой лошади. — Собачью жизнь мне хочешь?.. Я... Я... Сам-то жил?.. Домом, хозяйством... Моего там поту немало. Куда меня погнал? Хочу тоже, хочу домом жить!

— Иван! — резко крикнул Асон, ударяя лошадь каблуком, да так, что она заплесала: — И-иван!

Ванюшка съежился, затих на полуслове. Он уже не верил себе, что мог так сказать. Кому! Отцу!

Дарья затянула было голосанку, что-то наговаривая нехорошее, обидчивое, но Назар прикрикнул:

— А уймись ты!.. Испрожабь вас в душу, в горло!

Он уже и в самом деле обозлился. Зачем-то соскочил с коня и, сильно покачнувшись на отсиженных ногах, еще больше вскипел:

— Куда от вас от окаянных?.. Забежаться бы в лес!

— Брось, Назар, не шуми, — мягко вступился Панфил. — Кого тут? Оно, конечно, дело твое, сказать, истинное, ну да кого там... — неловко заикнулся и обратился уже ко всем: — Расседлаться бы?.. Стан тут богатеющий.

— Надо расседлаться, — радостно откликнулся Анисим.

Хрисанф благодушно покрутил головой и, грузно падая с седла, захохотал:

— На свадьбишку, значит, наклюнули... То-то, смот-

рю я, у Назара будто жбанчики с кваском в суминах хлюпают. Мужик запасливый.

И этого было достаточно, чтобы скрасить неприятность, заговорить свободно, громко, как будто ничего и не случилось.

IX

В суете событие померкло, к нему сразу привыкли и лишь украдкой взглядывали на Акулину, а она из кожи лезла, чтобы угодить. С упорством, тяжелым молчанием, брала она котелки, спускалась по камням к речушке, черпала студеную воду и расставляла посудины перед костром, у которого хозяйничал Хрисанф.

Народ разбрелся по кустам, прибирая поклажу. Только Бергал в стороне. Он обходит лошадей, осматривает спины, поднимает ловкими руками передние ноги и шатает подковы — нет ли ослабевших. За лошадь он умрет: у него, кроме лошади, нет ни друзей, ни товарищей. Ему все равно — своя она или чужая. Но попроси доглядеть — оборвет на слове, фыркнет и уже не прикоснется: не для тебя, мол, делаю. У него с собой и инструмент.

Обошел всех, погладил, каждой что-то тихо-тихо сказал на ухо. У Анисимова воронка одна подкова надломилась. Долго шупал ее и ворчал, потом нашел Анисима и буркнул сердито:

— Подкову-то, што ли, достань.

— Аль изломалась?

— Ну.

— Вот беда, скажи!.. Сейчас я... — Он долго копался в суме, пересыпая там запасное железо, и все говорил виноватым, извиняющимся голосом, а Бергал уже обхаживал Акулину пару.

Бабы у костра месили саламату — в кипящие котелки засыпали мелко истолченных сухарей и заправляли маслом.

Ванюшка успел уже слазать на утесик за речкой, притащил в поле и шапке грудку черных, шумящих листьев бадана, чтобы сварить чаю. Хрисанф одобрительно крикнул. Когда Иван наклонился к костру, он, щурясь от дыма, не то серьезно, не то шутя кивнул на Акулину и вполголоса заметил:

— А девка ладная, мотри. Не пропадет... Зря я обла-
ил ее...

Панфил ходит и присматривается. Давит его нехоро-
шее молчание. Надо что-то сделать, чтобы сноза все заго-
ворили, отворили душу, будь там хоть одно худое — все
равно... Не будет так добра, пока не скажут...

Когда снятые с пыли котелки задымили вкусным запа-
хом в тени у ели, Панфил, умывшись над ключом, без
шапки, подошел к стройной молоденькой пихточке и в де-
сятый раз оправил складень, укрепленный на серебряном
стволе. Потом попятился и, постоявши перед образом со
сложенными на груди руками, закрестился часто-часто,
кланяясь в пояс. За ним стояли все, тоже кланяясь и па-
говаривая шепотом знакомые с детства слова. Сотворив-
ши молитву, Панфил повернулся к народу, провел рукой
по жидкой бороде и огляделся.

— Акулинушка! — кротко позвал он, всматриваясь че-
рез куст. — Ты пошто же не подходишь?

— Брось там шариться, поди сюда! — уже решитель-
ней крикнул Асон.

Акулина, потупляя глаза, стала сзади, с Бергалом.
Иван, задержавшийся у потников, видя общие взгляды,
поспешил подойти.

Панфил оглядел всех спокойно.

— Вот, братие, пошли мы... Сущие далече мы путеше-
ствующие, как в святом писании... Да... С помощью божь-
ей пошли, со угодниками со святыми... С миром надо.
Теперь нам никто и ништо. Не жди себе помощи. Земля,
да небо, да ты. Ближе надо один к другому. В согласии
дело-то спорится... Сегодня вот неладно вышло. На душу
греха прибавили. А сердце-то, оно уже и того, закамене-
ло. Нету в нем правды, нету покою. Змеей шипучей из-
вивает... Нет... С согласия надо, братие, надо сообща.
Ежли не по ндраву тебе что, не хоронись, а говори перед
всеми. Ежли миром положили, повинуйся, не ропщи.

— Верно!.. Так, так!.. — кивал Асон, стоя впереди дру-
гих.

— Без этого не выйти нам на истинный путь... Сегодня
сомустил лукавый. Побороть его надо, правдой побороть.

Панфил заглянул через головы и строго поманил Аку-
лину.

— А ну-ка, подь сюда, девка.

С убитым лицом, едва-едва переступая, подошла она.

— Вот сюда стань...

Панфил строго оглядел ее.

— А поясни теперь нам, откуда это ты и как и пошто?

— Деданька Панфил! — заревела Акулина, падая в ноги.

Но он наклонился, взял за локоть и строго приказал:

— Не валяйся! Встань!

Поднялась Акулина, оборвавши рыдания.

— Отцовское благословение имеешь?

Помолчала и чуть слышно ответила:

— Нет.

— Как же ты?

— Убегла... С пасеки...

— А пошто так? Богу послужить пошла, али как?

Молчит.

— Не почтила родителей. Грех великий приняла! — Панфил сильно повышает голос: — Тяжкий грех сотворила!..

Акулина беспомощно уткнулась в конец шали и плачет, сгорбившись, вся вздрагивая.

Асон нахмурился, вздыхает:

— Грехи наши... Охо-хо! Царица матушка, небесная!..

Панфил разглаживает бороду и громко спрашивает:

— Как же, братие? Овца заблудящая... Миром, значит, порешим. Какое ваше слово?.. Куда ее.

Акулина все ниже опускает голову.

Неясным шорохом прошли над ней слова, пугающие непонятной тайной. Но Хрисанф сказал громко и открыто:

— Идет пушай.

— Как ее одну-то? — спрашивает Асон.

И, радуясь подсказанному слову, все возбужденно зашумели.

— Возьмем! Пушай идет! — покрыл все голоса Хрисанф.

Панфил с просветлевшим лицом положил свою руку на голову Акулины.

— Значит, счастье твое, Акулинушка.

Он уже скинул притворную строгость.

— Иди с миром, сердешная.

Панфил взял ее за руку и, отыскавши глазами Ивана, поманил его. Тот подошел, испуганный, покорный.

— Вот чего, Ванюшка, и ты... Акулина... Мое дело те-

перь никакошное... В вашей судьбе есть хозяин побольше меня... Как отец с матерью... К отцу подите...

Он повернул их лицом к Назару, а сам глубоко-глубоко, касаясь перстами травы, поклонился народу.

— Бога ради, меня, грешного, простите, ежли чо неладно вам сказал.

Ему ответили общим поклоном.

— Нас прости, отец!

Назар мирно, но с серьезным и грустным лицом шагнул к Ивану. Тот грохнулся в землю.

— Прости меня, тятенька!

— Изобидел меня сын родной, крепко изобидел. А кажись бы, слова худова от отца не слыхивал... Теперь вот тоже сомустил всех. Откуда это, парень, у тебя? Ровно бы раньше не такой был, Иванша. А?

— Тятенька, прости!

— Ты это кого задумал? Жениться?

Иван швыркает носом.

— Жениться, говорю, задумал?

— Благословите, тятенька, мамонька, — вдруг решительно поднял голову Иван: — Гараське я ее не дам... Убьюсь, а не дам. Ежли чо.. Дочерью будет, не скажет поперек... А Гараське не дам. — Он вскочил и говорил все громче, сильно волнуясь. Пошто мне нету места?.. Все, поди, не лучше нашего...

Панфил тронул его за плечо.

— Не ропщи, сынок, не ропщи. Помоли лучше угодника, чтобы сердце родительское оборотил к тебе.

Хрисанф, улыбаясь, что-то маячит Назару. И встряхнулся Назар.

— Э-эх! — крикнул он, отмахнувшись рукой: — Мать! Поди сюда. Да поди ты, што ли!

Дарья, нехотя, подвинулась.

— Кого тебе опеть?

— Кого? Сноху тебе в новую горницу.

Умиленно и растерянно смотрели все, когда они благословляли молодых.

Котелки уже сильно простыли. Пока рассаживались на траве, бабы снова подогрели их и, перекидывая с руки на руку раскаленные дужки, поставили посудины в кругу разложенных на небольших холстинках ломтей хлеба. Молча и старательно таскали жирную саламату большими ложками, густо посыпали солью толстые ломти.

Чай пили долго, со вкусом, и еда умиротворила. Сам собой завязывался оживленный разговор. Акулину никто не затрагивал. Даже Дарья только сокрушенно вздыхала, раздражая мужа. Ее мучила прошлогодняя обида на девушку за какие-то сплетни. Акулина, с уставшим лицом, едва шевелилась. Сидевший рядом с ней Асон все косился на нее, присматриваясь и, должно быть, тронутый забитым видом, стукнул ложкой в ее руку.

— Ты мне, дочь, скажи-ка вот чего... Как ты сбегла-то? А?

Акулина покраснела, громко швыркнула носом и сейчас же нахмурилась.

— С пасеки ушла.

— Нет, ты поясни мне, как ты это удумала? А?

— К Гундосому идти? Небось, удумаешь!.. Об осени свадьба, говорили...

— Та-ак.

Асон, опершись кулаками в толстые ляжки, осмотрел ее внимательно.

— Ведь отчаянность экая! Н-ну! Быдто в гости ушла!.. Ну и как же ты не заблудила?

— Иван направил, куда надо.

— Та-ак... Значит, спозаранку снюхались. Старики-то, может, сколько годов это дело мозговали, а у вас без хлопот.

Он повернул лицо к Ивану.

— А ты почему же чуял, что она прошла тут? Али зверем по следу тянулся?.. Кабы не пустили, да запуталась в ущелинах?

Иван вспомнил что-то. Загорелое лицо само собой поплыло в откровенную улыбку. Рукой пошарил за рубахой и не сразу вытянул обрывок кумачу.

— На кедрачах отметину оставила.

Девка сконфузилась, вспыхнула и наклонилась вплотную к холстинке.

Назар поднес было кусок к губам, да так и застыл. Похлопал глазами, ища себе сочувствия, взглянул на лоскут, на Ивана и хихикнул:

— Вот те, язви те!.. А я это думаю... Ха-ха-ха!

Он прожевал кусок, запил из чашки и прибавил резонно:

— Супротив прежнего нонешны умом, парень, ку-у-ды!.. Скажи, отколь чего берется?

— Народ дошлый, чего говорить, — согласился Анисим.

— Ну, па-а-рень—идет в ворота,—опять насел Асон.— Нет, девка-то, девка! Собралась, завьючилась, поехала!.. На пашню доле собираются.

Хрисанф, поднявшись и уходя к лошадям, кинул внушительно:

— Не пошел Евсей, от бабы отлипнуть боится—дочь ушла. Вот и все тебе. Кого тут разговаривать!

Анисим взъерошил черные с отливом волосы и, шуря угольки-глаза, захохотал:

— Уважила дочь!

Бергал украдкой улыбнулся. Ему ясно представлялось, как теперь шумит Евсей. И, словно подхвативши его мысль, Назар встрепенулся:

— Погоня, мотри, будет. Евсей теперь гу-гу! Вихрем землю дерет.

— Никого не доспееет, — отозвался Иван, решительно вставая и крестясь: — Не бараны, поди. По колодкам теперь шарится да дымком окуривает... Акулина на деревню лошадей ковать поехала.

— Штобы-те! — заливался Анисим.

Иван солидно одернулся, накиннул шапку и повелительно взглянул на Акулину:

— Ты дохлебывай, чо ли. Сумины надо раскладывать.

Она покорно, по-бабьи откликнулась:

— Сичас я. Рассупонь поди ремни-то. Не могла. Росой смочило, затянулись шибко.

Догоняя Ивана, она продолжала все тем же деловитым тоном:

— Надо там бадейки досмотреть: не потек бы мед.

И эта деловитость разоружила всех, кому на верхосятку так хотелось пошутить над девкой.

Оглянувшись на нее, Анисим восторженно потряхнул головой:

— Девка! А? Нет, ты, парень, — обернулся он к Назару: — не мутись. Вот тебе мой сказ. Не мутись. Золото девка! Твое дело таперь какое? Куды ты и што ты. Ни дому, ни печки. Скажи, дура нашлась, потянула...

Дарью прорвало:

— Скажи на милость! Калачом медовым не манили. Не хуже бы сосватали. Изба, поди, не без углов...

Все захохотали:

— Изба! — торжествовал Асон. — Супротив этого не скажешь. Изба, одним словом, молодяжничком огорожена, синим небом принакрыта, на полу — зелено.

Он развел руками в стороны.

Дарья обидчиво подвинулась за круг и, громко вздыхая, занялась своей торбочкой.

Польщенный Назар не сдерживал улыбки.

— Кого там! Обидно, слышь, то: не по-людски выходит. А девка, што говорить...

— Ты, ты-ты! — оборвал его Бергал, крича на жеребцов. — Покусайси-и!

Он проворно вскочил.

Подошел Хрисанф.

— Складываться бы, што ли? Как бы не скатило кого оттоль. — Он красноречиво показал на перевал.

— Это ты правильно, — согласился Панфил. — Кони поедят—седлаться.

Все сильнее припекало.

Солнце плавно поднималось на небо. Лес стоял тихий и радостный. Неумолчно кипела и ворчливо пенилась речушка. Обсохшая трава стлалась цветистыми коврами по лесным прогалам. Светлой и красивой жизнью жила глубокая долина, огороженная в небо уходящими отвесами.

Х

За день ушли далеко. Не достать, никому не сыскать. Только небо видит темные, глубокие, лесами поросшие пади, а над ними — горы, мрачные гранитные утесы и снега. Шпили утесов в клочья разрывают беспрютные, кочующие над землею облака. Высоко-высоко, выше хмурых туч вздымают они царственно гордые головы. А горсточка дерзких упрямо и настойчиво идет по их груди. Дорог здесь нет. Одна дорога — смелая мечта. Она ведет через бездонные провалы и гранитные поля, через старый-старый темный лес, которому конца нет, по долинам.

На закате расседлались.

— Эко место добро! — выйдя на опушку, радовался разомлевший от езды Назар.

Луг, заросший большетравьем, уходил зелеными полянами куда-то вслед за речкой, разлучая горы.

Панфил, тихий и кроткий, подойдя, встал рядом.

— Ты мотри, како травищу гонит!

Ничего не ответил Панфил, и оба молча радовались неразменному богатству, глубоко вздыхая и почесываясь в предвкушении спокойной ночи.

Бергал с Хрисанфом крепко спутывали лошадей. Их голоса — один зычный, веселый, а другой раздраженно-отрывистый — неслись через густые заросли с большой полянки за рекой.

Бабы суетились под деревьями с поклажей. Асон тут же починал испорченное днем седло; все ворчал и сопел, да приморился, бросил. Сидит теперь и смотрит. Акулина хлопотливо перетаскивает пухлые сумы, надсаживается, закусывая губы и краснея.

— Надсадишься, деваха, — сочувственно качает головой Асон, — ты того бы... по траве волокла... Ну, да и брось! Соберут мужики. Брось, ли че ли, говорю!

— Пропаду без мужиков-то, — огрызается она. Сама ищет глазами Ивана. Где он? Вспомнила — ушел по речке удить хайрюзов. Оглянулась на Асона — тот разувает ногу, ничего не видит, скользнула проворно в кусты и, пробираясь по колючей заросли, бросилась по следу.

Далеко забрел Иван. Примятая трава ведет по берегу. Акулина изморила, выдергала ноги на разбросанных в траве камнях. Скорее бы Ванюшка! Рассказать ему все...

Из-за густой черемухи со свистом поднялось непомерной длины удилище. Тускло блеснуло оно в воздухе, передернулось, вздрогнуло змейкой и упало почти к самым ногам, придавляя траву. И сейчас же с шумом вылез из куста Иван.

— На тебе! — вскрикнул радостно он. — Видно, притянуло.

— Зря, поди, измаялся?

— А это што! Гляди! — он подкинул связку рыбок, низанных на тонкий прут.

Но Акулина смотрела растеряннo, куда-то мимо, на реку.

— Хватит, што ли? — спрашивал Иван, играя связкой. Акулина не ответила.

— Пойдем еще маленько.

— Ты ничо не знаешь?.. — убито улынулась она.

Иван насторожился.

— Кого опять?

У Акулины по лицу и по губам перебежала неуклюжая улыбка. Девка собралась что-то сказать, да не сумела, не хватило силы — как ребенок всхлипнула и, закрываясь руками, зарыдала. Все, что накопилось с прошлой ночи, полилось неудержимыми слезами.

— Ой, тошнешенька мне-а! Ой, тошнешенька-а! — голосом редела Акулина, припадая вперед.

Иван растерялся.

— На вот! На вот! Ты сдурела?

Акулина топнула ногой и, отбросив руки, показала красное, все неприятно мокрое от слез, лицо.

— Гараську я зарезала! — громко выкрикнула и кулем опустила в траву.

Иван, раздавленный двумя словами, стоял над ней со спокойным лицом. Он видел пестрый сарафан, под которым вздрагивали плечи, слышал грубо-низкий голос, повторявший какое-то страшное слово, но все это было так далеко и непонятно, так незначительно и чуждо. Наконец, очнулся. Непонятное сменилось жутким страхом. А может быть, то была радость? Сам потерял себя. Иван наклонился, упал на колени и, положивши руку на плечо Акулине, а другой опираясь на камень, попытался приласкать:

— Не вой ты, моя...

Жалость и нежность вынесли из глубин яркое, горячее слово, но сказать его не мог.

— Брось, ли чо ли... Акуляша! А?

В голове проносится: «Когда это и где? Гараську!».

Акулина надрыдается, все ниже опуская голову, как будто хочет спрятать ее под тяжелую черную землю.

— Ах, ты! Вот скажи! Ну, уймись, ли как ли... Растолкуй, хошь.

Он решительно сел рядом и, обхвативши ее сильными руками, опрокинул к себе на колени.

Акулина покорно уткнулась в живот.

— С пасеки... с-са-а-мой...

— Ну?

— Ну, прилип тот...

Она утерлась рукавом и передвинулась, по-детски сухо всхлипывая.

— Бергаленок, што ли?

— Кому боле.

— Ну?

— Я это утре только съехала с лохматой сопки, а он и тут. Гляжу, у речки шарится. На саврасом хлюпает. Едет будто бы тихонько этак. Куды тут, думаю? Свернула лесом, а он оборотил... Подъехал, скалится, проклятый. «Здорово, што ли, — говорит. — Знать, по пути нам?» У меня и речи нету. Обомлела, молчу, дура дурой. Ну, кого я с ним доспею?.. Одиным-одна. А он крутит и крутит... Повернула на дорогу, а он следом. По пути, говорит. А кого там, по пути — ни сумин, ни припасу. Знамо дело, галится... — Акулина опять нервно вздрогнула и, закрывши глаза, сильно прикусила губу.

— Ну? — Иван нетерпеливо теребил ее шаль.

— Ехали, ехали. Он все рядом норовит. Сам болтает и болтает языком. Я и спрашиваю: «Ты куда же это?» — «Я-то, — говорит, — куда? С тобой пойду»... Зубы скалит... «Помнишь — как под елкой-то? Может, мы не хуже...». Ухватил меня ручищей вокруг шеи, к себе тянет. Понужнула я Белку, а та сколыхнулась, дернула, я и вылетела из седла. У ево саврасый тоже, как взыграл — оба повалились... Ой, тошнехонько!.. Облапил, значит... храпит зверем...

— Ну?

— Так маленько — и уделал бы... Силушки нету моей. Да одну-то руку выкрутила... Ножом ударила в лопатку... Выкатил белки... Отпал...

Ванюшка дышал тяжело и отрывисто, будто видел все перед собой. Вот-вот сорвется с места, бросится.

— Ссабака!

Акулина широко открытыми глазами смотрела куда-то вниз и вдруг в ужасе вздрогнула, съежилась.

— Страсти-то, страсти! Куды я денусь? Тошно мне, тошно!.. Всее ноченьку дрожала. Куды ни гляну — все он ползает, корячится.

Она помолчала с минуту, что-то вспоминая, и порывисто схватила за руку:

— Как побегла от него, обозвал нечистым словом. Сам хрипит, а сам по-матерному... Потом уткнулся головой под камень.

— Ссабака! Бергалу и смерть по-бергальему.

— Ой, куды я денусь! Грех-то, грех!

— И никакого тут нету греха. Кабы это человек, а зверь и зверь. Ежли волк, али кто там, на тебя напустит-

ся, в зубы, поди, не полезешь. Он и зверя вредня... Ну, как как же не вредня? Ты смекай, кого он удумал?

Иван долго говорил, и злоба пропадала вместе с тем, как Акулина делалась спокойней. Облегченная рассказом, она тоже затихла, смирилась.

— Исповедаться бы дедушке, — осторожно подняла она глаза.

Иван согласился:

— Как хошь. Он не бросит, на поклоны поставит. Не великой грех твой.

— Исповедуюсь я.

— Ты себя сберегала, — продолжал свою мысль Иван. — Всякой так бы сделал. Кому жизнь не дорога? Пошто он этак? Сам неладно закрутил, оно и вышло...

Ласково и мягко говорил он. Слова его были такие простые, понятные. Акулина им отдавалась вся, без раздумья, без тяжбы, теснее прижималась к Ванюшке, стараясь поглубже зарыться в рубаху, а он гладил тяжелой ладонью ее голову, круглые плечи и грудь.

— Ты не думай только. Не надо думать.

— Да как я? Не идет из головы.

Она передернулась, всхлипнула, вздрогнула.

— А ты о другом... Пройдет... Не сама вить, не нарошно... Бог-то видит, поймет. Не обманешь его. Небось, видит.

Она затихла, вся ушла в себя и распустилась, не отталкивая ласковой руки и ничем не отвечая на теплую нежность. Было столько мыслей, бурных, мятущихся, никогда не изведанных. Жизнь с рожденья тянулась такая простая, знакомая — сегодня, как вчера, и вчера, как сегодня, будто во сне ее видела, всю наперед узнала. Да обманул тот сон. Дорожка виляла, виляла и вывела к такому, перед чем растерялась душа, и стоять ей не на чем, повисла в воздухе. Все ушло, все потерялось.

Не отрываясь, долго, снизу вверх, смотрела на родное сильное лицо. Знала на нем каждую морщинку, но не умела понимать того, что есть за мелкими морщинками. Там другое лицо. Словно невзначай разгадала мудреную загадку. Вот он, тот, который все знает и выведет, — Ванюшка! Все теперь устроится. Ванюшка знает, как. Он знает! Лежала тихая, покорная и отдавалась ему в мыслях телом и душой, но не так, как иногда, — до угару, до

боли — нет, не так. И в этой покорности было неизведанное счастье, было небо и солнце.

Очнулась от толчка: Иван подвинул затекшую руку.

— Разбудил, знать?

Она молча улыбнулась, поправляя волосы.

— Отдохни маленько.

Опять ничего не ответила, покрутила головой и вытянулась в рост.

За спиной в лесу темнели тени. Пятна зелени, воды и камней потеряли свои краски. Серой дымкой застилало всю долину.

— Ночь, мотри, идет, Ванюшка, — с трудом вставая показала Акулина на дальнюю кайму хребтов, из-за которых поднимался на небо украдкой молодой, бумажно-белый, месяц.

— А вить хайрюзов-то, знать, мы подавили, — смеясь, потянула она длинный прут.

Иван улыбнулся.

— Пластать не надо, работы меньше.

Когда возвращались, Акулина на каждом шагу припадала в малинник, набивая полный рот рассыпчатыми ягодами.

— Лошадей бы надо доглядеть, — заботился Иван.

— Пойдем, пойдем!

Она поймала его за руку, и оба побежали вдоль речушки, по-ребячьи прыгая через большие камни. Но по дороге встала черная черемуха, раскинув лапы далеко над речкой. Акулина, уцепившись за одну из веток, вскрикнула:

— Ты глянь-ка, глянь! Черным-черно от ягоды! Набрать-то вот бы! Наберем? Ну, давай, ли чо ли, шапку!

Он покорно протянул ей меховушку и, подпрыгнув, наклонил развесистый сучок. На каждой веточке висели длинные сережки черных мягких ягод. Стоило до них дотронуться, как ягоды дождем катились по ладони в шапку, в рукава и на траву. Ванюшка все старался отыскать корявые сучки, где ягода была крупнее и слаще. Акулина искоса взглянула на него, и что-то в ней проснулось, хлынуло огнем по жилам. Будто год не видела. А он совсем уже не парень. Борода пушится. А ручки-то, а плечи! Муж он, муж! Сын в него издастся, капля в каплю. Застыдилась своей мысли, вспыхнула, вплотную подошла к нему и, пропустивши свою руку под его, тянулась к

вздрагивающим сережкам. Радостно и жутко было прикасаться к его телу, чувствовать тяжелую родную руку на своем плече и у лица. Оттого ли, что рука так крепко пахла, или оттого, что сердце сильно билось, пальцы прыгали по листьям, не захватывая ягод.

— Обтрясла все дерево, — ворчал Ванюшка, крепко прижимая девку свободной рукой. У Акулины закружилась голова, когда он, как бы невзначай, запрятал грудь в широкую ладонь и тиснул так, что дух занялся. Но сейчас же выпустил и властно повернул на тропинку.

Стан был близко. За рекой визгливо ржали жеребцы. Тянуло дымом. Дальние кусты сливались в темную густую поросль. Вечер был тихий и теплый. Шагая сзади, Акулина все смотрела на могучую спину Ванюшки, на косматую большую голову, и в сердце был великий праздник. Но кому было сказать об этом? Разве только что Ванюшке... После, ночью.

XI

Золотые, горячие дни чередовались с непогодью, мокрыми туманами и зимней стужей под белками по ночам. Нерукотворными громадами тянулись горные хребты, и не было конца им. Они поднимались то выше, то ниже, замыкая дали тесными рядами стен. Но к концу шестой недели горы снизились и поредели. Зелени подолов растилялись шире с каждым перевалом. Наконец, под вечер того дня, как миновали каменный курган, воздвигнутый неведомым народом на вершине сопки, перед глазами развернулась во всю ширь великая пустыня.

Пали стены. У предгорий, словно стражи-пограничники, возвысились мертвые, серого камня утесы, а там, за ними, шли пологие холмы, сливаясь с гладью песчаного моря, еще неясного, но властно захлестнувшего далекий горизонт.

В последней зеленой долине сделали привал на целую неделю. Лошади, измученные, похудевшие, со сбитыми спинами, поправлялись быстро. Люди усердно работали. Мужики чинили сбрую, вялили наловленную бродничком рыбешку, выходили на охоту. Бергал все хлопотал у лошадей: разыскивал какие-то травы, жевал их и прикладывал к болячкам. Хрисанф с Ванюшкой успели загнать двух архаров. Мясо тоже вялили, но соли было мало —

жалели ее, — и в сморщенных кусках стали появляться черви. Бабы собирали и сушили ягоды. Неизвестно, что там ожидало, за последними холмами. Собирали и приклады-вали каждую крошку; подолгу, обстоятельно обдумывали всякую мелочь.

Накануне выступления вечеровали дольше, чем всегда. И лошадей, и сбрую, и поклажу привели в порядок еще утром. День прошел в мелкой починке, а вечером все не хотелось отойти от большого костра, как не хочется выйти из теплой приветливой горницы на холодную улицу.

Ночь пришла тихая, звездная, прекрасная своей великой тайной, никем не разгаданной. Огромный, широкий костер в кольце невысоких кустарников уже погасал. Сгорели все корявые сучки, натасканные за день, и в середине костра едва слышным звоном жалобно звенели раскаленные угли, утопая в золе. Лишь по краям огнища вспыхивал то тут, то там случайно уцелевший прутик. Иссиня-белая змейка проворно шмыгнет от костра, испепелит сухую ветку и угаснет, скроется. При отблеске последних вспышек круглая полянка оживет, покажет все свои углы, забитые странными грудками скарба, и потонет в темноте. Ночь тогда кажется еще темней и глуше.

Почти рядом с костром и в кустах слышен легкий говор — все не спится. Только Анисим да Назариха перекликаются через поляну нудным однотонным храпом.

Асон кряхтит и кашляет, часто обрывая Панфила.

— Вот попущение божее; спать, однако, слышь, не даст. Асолодки пожевать бы, да теперь ее где? Не уищешь. Вся трава одинакова.

— Асолодка — хорошо, — мирно отзывается Панфил...

Он помолчал и возвратился к своему рассказу:

— Много их тогда ходило, с батюшкой с покойником. Все рассыпались. Старики-то на особицу двинули. На семьдесят девятый день пришли, значит, к морю. А оно, это море — озеро святое, без конца и без края идет. И нет, говорит, ни погоды, ни ветру, а оно себе стонет, страшным гудом гудет. А по зорям, по вечерной и по утренней, волна уймется, тихо станет. Так тихо, будто бы молится море святое. Звон тогда слышится. Издалека доносится, ровно из воды, ли как ли, говорит. Тихой, тихой звон, ашибко слышно, ровно поднесено под ухо, и столько колоколов там звонит, что ни есть числа им...

Панфил с кряхтеньем поднялся и поправил изголовье.

— А звон-то этот с островов идет...

Он не раз рассказывал о море-озере и уже привык на этом месте останавливаться. Остановится и поглядит на слушателей.

— С островов... Кругом того моря пустыня великая. Берег такой, что как бы и не берег вовсе. Ежли в пасмурный день, то и не знатко, где вода с песком сливается. Глаз слезится, как посмотришь вдоль его. А острова-то, значит, на середке. На самой середке. В ясной день глядеть, так видно их. Не всякому только даются. Другой сколь ни смотрит, ничего не углядит. Слеза затягивает зрак. Не допускает, значит. А ежли с постом да с молитвой, так ничего, откроются. Из воды это, будто, леса поднимаются. И видно их, и не видно. Больше сердцем чувствуешь. Далеко уж шибко. А в тех лесах святые схимники. И монастырей там, и храмов — не счесть! Все по старой вере. Народ русский зашел, стало быть, с царя Константина.

Хрисанф крепко крякает где-то совсем близко в кустах.

— Никакошная жизнь, пропащее дело. Первое дело тебе — слобода. Без этого, брат, никуда. Не спасешься без нее.

— А как это... — Асон закашлялся, сел и, тяжело дыша, долго плевал в сторону. — Прости меня, господи!.. Как это святые-то отцы спасались, а? Скажи ты мне, Хрисанф Матвееч. А? Ровно бы грамотный, поди, читал в писании. Кого хошь возьми, ну, кого ни возьми — все из миру уходили, который — в скит, который — в пещеру...

— Вот ежли в пещеру, да один — оно подходит. Ты думаешь, пошто он этак делал? Слободы захотел, вот оно што. Один он — сам себе хозяин. Понял? Сам себе хозяин. Не пришьешь, брат, его! А как сердце в покое, оно и к богу ближе.

— Да ты постой, постой! — кричал Асон. — Не дай бог этак подумать, рази они в угоду свою жили? Что они делали? Вериги носили железные, в кровь свое тело спускали... А посты как содержали! Вкусит ягоду малую да росинкой запьет. А которые, вон, предавались молчанию, а то опять были такие...

— Правильно сказываешь, сами грамотны, а только все это для виду делалось, для положения. Потому полагается отшельнику плоть свою измаривать.

Хрисанф говорил спокойно, и это особенно волновало

Асона. Старик чуть прилег и опять приподнялся на локте.

— Ты пошто так, ты пошто?..

Хрисанф не слушал.

— Для слободы это, для себя так способнез. Плоть-то он и так, и этак, а духу оно легче. Раз пошел за этим делом, надо содержать себя в полном обиходе. Мирской придет — ему подай и пост, и вериги, и все. Какой это, скажет, исхимник, ежели нет порядку? А исхимнику-то легче...

— Нет, ты не мути, Хрисанф!

— Чего мутить? Не для ча мне...

Хрисанф, давно уже растянувшись на спине, покрытый армяком, не отрываясь, вглядывался в черную звездную глубь. Было что-то там таинственно-жуткое, чего он никогда не замечал. С детства видел эти звезды и ни разу не взглянул за них, туда, в небесную святую бездну. Теперь она была перед глазами, вся открытая. Мысль робко скользила от светила к светилу и, словно утомленная, обезоруженная, возвращалась на землю, к знакомым предметам, и все земное ей казалось таким мелким, незначительным, понятным...

Странно было, что Асон, проживший чуть не сотню лет, не мог понять простого положения: для порядку много делают тяжелого, а как посмотришь — для себя же.

— Нет, ты не мути! — не унимался старик, — сказать теперь к слову, на этом на море скиты... По-твоему — тоже для себя?..

— Знамо дело. На миру не по ндраву, вот и сокрылись.

— Да вить старой веры, истинной! — надсаживался Асон, наклоняясь всем тяжелым корпусом к Хрисанфу.

Хрисанф замолчал. Он боялся, что не выдержит, а не хотелось оторваться от небесных огоньков и своих мыслей.

— Ты куда же с этим? Не допустят! Не допустят, мотри! С поганой-то думой. Нет, не можно...

И вскипел Хрисанф — помутнела глубокая синь, задрожали на ней звезды — круто расклонился и отшвырнул в сторону армяк.

— Ты не страшай! Не страшай, говорю!

Крикнул так, что где-то в густых ветках испуганно, с жалобным писком забились приютившаяся на ночь

птичка, а Назариха громко сглотнула слюну и захрапела тоном ниже.

Панфил беспокойно вздохнул:

— Кого вы это?.. Не ладно, мотри-ка, Хрисанф.

— Не ладно! Говорил заране: не будет согласья, несогласно пойдем. Я не махонький тоже. Маракую, подика, куды вы погнули. А только мне к монастырю не по дороге... вот што!

— Накажет те господь, — подавленным голосом тянул Асон, глухо ударяя кулаком в сырую землю. — Накажет, накажет.

Хрисанф уже снова улегся и, взволнованный, весь будто в струну натянутый, старался отвечать спокойно:

— Может, и накажет. Люди мы... Под богом ходим... А только туда не заманишь. Ежли мне спастись уж придет на сердце, в старости, значит, так я уйду в ущелины, в самые камни, куда птица прилетит не всякий день.. В скиту мне не подходит. Там покорство первее всего и ни ногой никуда. Море, оно похоронит... А ну, как душа-то запросит слободы, да как в море те потянет, на самое дно, к нечистому в колени... Беда!

Сенечка лежал на другой половине за потухающим огнищем, обложенный суминами. Он не обронил ни слова, слушал с сладким перебоем в сердце и представлял себе, что это не Хрисанф, а он так говорит. К горлу подступало жгучее удушье. Сенечка привстал легонько, так, чтобы никто не разглядел и не расслышал.

— Чего Хрисанф притих? Бонтся? Не таковский он. Вот тут их прижать-то! Пусть жуют, прожевывают... Молчит Хрисанф! Не так их надо.

Мысли теснились одна другой злее. И откуда эта злость? В походе улеглась было, не думал ни о чем о старом; стал даже бояться самого себя: к ним недолго привыкнуть, а там, смотришь, оседлают, затянут, своим сделают. Да вот проснулось старое, полезло с глубокого дна, и нет ему удержу. Все опять вспомнилось.

— Мир-то, парень, завсегда был подлый...

Сенечка и сам не знал, как это вырвалось, а слова будто обрадовались, побежали юркими подкаменными ящерками.

— Подлый он... Нету в нем правды, совести нету... Нет, нету... Не найдешь, не ищи... Одному все надо. Пока один — живешь по совести, а как вышел на мир, привя-

жут те и поведут, и поведут, куда не хочешь... Потом сам пойдешь. Бараны вот этак же... Ума-то своего нету. Одному надо сюда, другому в эту сторону, а их вон куда кнутом поворотили.

— Ты кого там? — огрызнулся Асон. — Кого? Взъелся опять?

— Ты один, я один, — уже выкрикивал Бергал, словно боялся, что не дадут сказать всего. — Каждый, значит, по образу и подобию божьему... Ты ли, я ли — все один фасон... Да пошто тебе дорога, а мне чертоломины? Не по-божецки! А потому — все мир. Пошто ты с кнутом, а я на кобыле? Может, я не хуже. А? Пошто так?

— Сеня, брось! — сердито оборвал Хрисанф.

— Один-то, брат, царем!.. Царем живешь! Возьми орла — она птица непокорная. С голоду подохнет, да не покорится. Ни в жисть! Дак пошто человек?.. Человек пошто собакой скинулся?..

— Ну, брось ты, Сенечка! — с досадой прикрикнул Хрисанф, зарываясь в армяк.

Асон в волнении никак не мог найти необходимых слов.

— Плохо те били, Бергал... Мало выколачивали... варнацкого-то духу не выбили всего... — сказал он с дрожью в голосе и, сдержанно побряхтывая, опустил голову на потники.

Сенечка сразу замолк. Оборвалась в его душе какая-то струна, оборвалась со жгучей болью. Снова вспыхнула злоба, залила пожаром и эту боль, и самого его, и небо — захлестнуло заревом весь мир. Как от сильного удара, стеснило дух, тяжелым, угловатым камнем придавило грудь, Бергал упал затылком на траву и замолчал. Замолчал теперь надолго, быть может, на целые годы. Будь он проклят, будь проклят! Разве можно с ними говорить? Разве поймут они правду? Сенечке казалось, что говорил он долго и много, говорил понятными словами. Нет, не поняли!

А сколько черных, одиноких ночей ушло, пока он отыскал эту правду! Находил понемногу, по зернышку. Запутали люди, развеяли по всей земле. А он собрал. Хрисанф — тот знает тоже. Для виду только путает...

Сенечка вздрогнул от сырости, потянувшей по кустам с ключей, вздохнул прерывисто, давась своим горлом, и только тут увидел небо. Звезды там... Темно и тихо... Небо

никогда не звало Сенечку к себе. Других зовет, его не звало. Никогда он не подумал: что там, как там. Должно быть чудно все устроено. И рай, и ангелы, и пророк Илья на колеснице. Как посмотришь — пусто, а он проедет — грохотом оглушит. Горы стонут, как покаты шибко. Едет по небу и мечет в грешников огненные громовые стрелы. Сенечка не раз их находил остывшими в песке у речек и продавал Зиновьюшке — старухе-шептухе. Та лекарство делает из громовой стрелы и корня Петров Крест от грыж, от всяких — от жилинной, от суставной, от простой, от белой и от внутренней сколотки.

Верил Сенечка в пророка, сильно верил, считал, что это правильный святой: не как другие, его видно, он себя оказывает. Да случилась неправда. Убил он у Сенечки недельного теленка. Лежал тот под елью за избушкой. А за что его было? Без пути пристукнул. Какой в нем грех, в недельном-то? Не может быть греха. А если за него, за Сенечку, так это не по правде. Самого и наказывай. К чему животину губить? Не на то она родилась.

Сенечка не раз дерзал против небесного. Бывало, по ночам откуда-то подкрадываются такие мысли, что и не скажешь их: страшно сказать. Он старается не думать, не смотреть на небо. Может быть, ему только не открывается, а другим там видно все, что надо. Но одно он знает хорошо — не там надо правду искать. Не откроет ее бог, никому не покажет. Он спустил ее на землю, отдал людям, чтобы сами сохраняли. А они растащили ее по земле, развеяли песком и потеряли. Теперь ищут, вырывают друг у друга, злобствуют, мечутся, у бога молят помощи. А бог-то видит и молчит. «Ищите, мол, ищите. Тут она, у вас. Как помрете да ко мне явитесь, тогда скажу. Узнает тогда каждый, по правде он жил или нет»...

Сенечка ушел в себя, затих, будто замер каждой жилкой, и душой, и сердцем. Совсем близко, в темноте, стоит над ним кто-то или что-то. Стоит, наклонившись, готовя удар. Не поймет никак Сенечка, не думает об этом, а душа ожидает. Вот-вот должно случиться это, страшное, неотвратимое. Но побежали мысли по небесным огонькам, ушли в былое, в молодость, и Сенечка рассеялся, забыл Асона с его подлыми речами. Тело распустилось, млеет в сладком отдыхе, да только душа не отходит. Закрылась наглухо, окостенела и никого теперь не впустит за тяжелые двери. Знает это Сенечка и радуется: сам себе хозяин.

Асон мирно ворчит. Он поймал на лице колючую козявку и не успел ее отбросить, как другая пулей врезалась в густую бороду. Он осторожно выдирает жучка из волос и разговаривает сам с собой:

— Ишь, нанесло ее. Глаз этак выхлестнет... Тварь господня тоже ведь... По ночам ей показано...

Назар с ним рядом нерешительно побрякивает. Не дослушал Панфила. Надо бы спросить — потом забудется, — а тут так все обернулось, что и разговаривать неловко. Обидно Назару. Он настроился на тихий, сладкий разговор, и вот пропало все. Но так хочется послушать правду, побывальщину. Панфил умеет рассказать. Назар вслушивается и ловит ухом легкий вздох Панфила. Тот сокрушенно молчит.

Назар тихонько спрашивает, будто самого себя:

— Дак, говоришь, на островах?

Панфил шевелится и отвечает не сразу:

— Сказывают так. Не знаю, сколь правильно.

В его голосе звучит обида.

— Ну, а как же, значит, прознали-то про это самое, про монастыри, там, и про веру?

— А уж так случилось... Люди видели.

— Вот скажи ж ты! Значит, удостоились?

И забыл Панфил обиду.

— Ты, поди, помнишь Малафея? — повернулся он к Назару. — На Малафеихе на речке?

— Ну, дак как же!

— Вот Малафеев-то родитель и угодил туда... Этак же, случилось, пошли старики. Много пошло. Малафеев-то родитель, Агафон, и отбил. Лошади пристали, што ли, только ушли всем табором, а он остался. Говорит: «Как справляюсь, догоню. Ступайте с богом»... Место каменное, гибельное место... Ушли, а он и не показывался больше. Сколь ни ждали — нету старика. Куда тут, где искать? Помянули душу православную, погоревали, да и только. А потом, уж много лет прошло, вдругорядь как двинулись — вышли на это море-озеро. Те же самые, значит, и вышли. Стали станом. Смотрят — к вечеру, как утихло погодье, едет к ним лодка, вся черная. Скоро так едет, а в лодке монахи, втроем сидят, и тоже в черном. Наши их встретили с почетом, на колени миром пали. Стали, значит, умолять, чтобы свезли к себе, а те и говорят: «Покажите нам книги». Ну, показали. «Нет, не-

правильные книги. Наши вот какие». Пошли и пошли им выкладывать. Одно слово, знающие люди. Покойник Данило Петрович с ними было в щель пустился, да куда, брат. Замолчал, накрысили... Так ничего и не доспели. А уж как просили-то. В ногах валялись. По сто тысяч поклонов на голову брали. Нет! Неправильные книги. Не окверним, говорят, святой обители. Нельзя. Нам, говорят, што. Нам не жалко места, сами рады, ежели кто придет, да лишь бы правильный. Вот, апрошлый год пришел старец Агафон, тот с правильными книгами. Ну, значит, наши, как есть Малафеев родитель. Живет, сказывают, бога славит, молится...

Панфил вздохнул.

— Крепкий был старик. Веру шибко держал.

— Ну, а те как? Монахи? — справился Назар.

— Уехали монахи.

Панфил помолчал и добавил:

— Совсем уехали.

Полянка затихла. Но Хрисанфа подтолкнул нечистый под руку:

— Не помстило им с монахами-то? А?

— Кого это ты? — кротко откликнулся Панфил.

— Да говорю, с монахами-то не помстило? С голодухи, может. Все причудится... А то и концы, поди, хоронили. Старик был денежный. Сказывают, полную сумину серебра китайского повез с собой. Укокали, поди.

Ничего не ответил Панфил.

Асон выждал минуту и, не слыша протестов, тяжело повернулся.

— Тыфу ты, богохульник! — плюнул он в сторону. — Прости меня, царица матушка небесная...

Никто не отозвался даже вздохом. Только в дальних кустах, на краю поляны, прорывался легкий шепот. Там лежали Ванюшка с Акулиной. Под тяжелым домотканым армяком верблюжьей шерсти они не чувствовали зябкой свежести. Акулина все не находила места, не могла устроиться. Сначала долго говорила с мужем. Потом не давали заснуть старики, а теперь нашла забота и тоска. О чем, по чем — она сама не знает. Наконец, устроилась, прижалась крепче к мужу, положила голову к нему на сильное плечо. А Иван поминутно засыпает. Говорить уже не может. Молча проведет ласкающей рукой по горячей

спине, и остановится рука на полдороге, повиснет мертвой тяжестью.

— Никак, заснул опять? — с упреком шепчет Акулина.

— Мгы-ы... кого тебе? А?

— Да, говорю, не могут те уняться. Слышь, Асон с Бергалом позубатили.

— Подь они!.. Спи, ли чо ли! Возится и возится... Первый спень — он слаще... после не заснуть... Да ноги-то на улицу пошто суешь? Кака-нибудь нечисть привяжется. Давай их сюда. Вот так... Ну, спи.

Покорная под сильными руками, Акулина сладко съежилась, будто встала между ней и людьми высокая, неодолимая стена. Она уже привыкла к этому. Но тоска была с ней. От нее не спасали и стены.

Акулину никто не корил за Гараську. Бабы долго охали, шептались и плели свое несуразное, да мужики покончили. Не своей охотой добивалась, всякому жизнь дорога, и толковать тут нечего. А что погиб он, так не сегодня — завтра все равно сложил бы варнацкую голозу. Ему — по пути.

Прежде чем обратиться, Панфил поставил Акулину на поклоны. Заказал ей сорок тысяч, да девка выбилась из сил, не могла на лошадь сесть, с лица и с тела стала. Старик смиловался, сбавил по дорожному делу. Разбитая, больная Акулина с упорством отбивала каждый день по сотне, и с каждым днем с души отваливался лишний камень. Когда закончила, душа опять воскресла. Расцвела Акулина снова стала, как и прежде: телом крепкая, упругая, душой — веселая, живая, радостная. Искупила вину, заплатила за все. Но по ночам подкрадывалось что-то беспокойное, неясное, и дезка металась в тоске, обдирая зубами высохшие губы. И не поймешь его, никак не расскажешь. То Гараська наступает — шерится, то опять падут на память деревенские. Больше всех почему-то — братишка Пахомик... Подбежит к окну с улицы, взберется по венцам и ляжет грудью на широкий подоконник.

— Нянька, а нянька. Обедать скоро?

— Погоди, не убрались.

— И-ись шибко манит, — сморщится Пахомик, но поскребет босыми загорелыми ногами по стене и отпадет, будто в яму провалится. Как за стол садиться — не найдешь.

Много путается в голове. Всего и не собрать, не вспомнить. Но к утру все пропадет. День в работе, в хлопотах, подумать некогда.

А тут еще совсем другое подступило, новое, страшное, близкое. Свое это. Свое и Ванюшкино. Третий день, как поняла его, почуяла сердцем. Тяжело одной-то, а сказать — не находится слов.

— Ты! Ванюшка!

— Агы-ы... кого там?

Акулина привсталала, опустилась на него горячей грудью, прилипла к самому лицу.

— Ваня!

Называла так редко, лишь в минуты близости.

Иван открыл глаза, насторожился. Утомленный вечерними ласками, он осилил усталость, и быстро проснулся.

— Ты чево не спишь-то? Рази холодно? Ложись вот так.

— Ваня!

— Ну?

— Боязно мне што-то.

— Плю юнь.

— Другой месяц, однако, пошел... Привязалось видно...

— Чево это?

— Да так.

Иван понял без слов, вздрогнул, замер душой.

— Али што почуяла?

— Ага.

Она опрокинулась на спину и лежала, непокрытая по пояс, не чувствуя холода.

Иван приподнялся на локте, склонился над ней и гладил по лицу ладонью. Что было сказать и как сказать? Вдруг явился откуда-то стыд, совсем особенный, не уличный, и то, что раньше было будничным, простым, теперь стало выше давно знакомых слов и понятий.

Словно его чутко подслушивала ночь, Ванюшка наклонился еще ниже, подавляя шепот:

— Понесла?

Акулина не отозвалась, не шевельнулась. Он только видел черные провалы ее глаз и чувствовал — глядят они не по-дневному, не так, как на всех и всегда, а глядят самым дном. Иван обнял ее, тиснул крепко и прилип губами к голой шее...

Костер потух. По краю неба, в глубине долины, пала

предрассветная серая занавесь, скрывая великую тайну —
рождение нового яркого дня.

XII

Уже целую неделю шли песками. Во всю ширь раскинулась пустыня, бесконечным морем уходя за горизонт. Лишь позади синеющей невысокой каймой колыхались в знойном мареве оставленные горы. На них оглядывались часто, но никто не говорил об этом, хоронился от других.

Пустыня встретила сурово. Сухая, знойная, величественно строгая в своем молчании, она ничего не сулила и ничем не радовала. Каждый знал, что здесь надежда — только на себя. Раз осмелился — иди вперед, иди, не останавливаясь, не сворачивая и не оглядываясь. Только смелый пройдет. Будет жечь тебя, будет голод томить, будет смертью пугать — все иди, все вперед.

Асон с Панфилом много говорили о прежних странствиях, и к ним прислушивались. И как было не верить, глядя на Панфила? Он опять был впереди, он знал, куда ведет.

Идти старались по ночам: боялись, что лошади не вынесут зноя. Они спали с тела как-то сразу. Сухой, колющий саксаул не мог им заменить душистых зеленых лугов, а воды встречалось так немного, и была она такая, что только мучительный голод и жажда заставляли пить ее сквозь зубы. На каждом дневном переходе попадались колодцы — с широким устьем небрежно разрытые ямы. Прежде чем достать воды, подолгу приходилось выгребать сырой песок, идти дырой все вглубь и вглубь, а потом часами ждать, пока насочится вода...

Ночь была свежая, лунная. Ехали сгрудившись, стараясь держаться плотнее. В родных горах не раз случилось в одиночку путаться ночами по глубоким падям и уремам, слышать треск под крепкою ногой косматого «хозяина», ночевать в покинутой избушке разоренного бродяги, сталкиваться носом к носу с темным человеком, но все это было родное, свое. Пустынные поля пугали мертвой мощью, нехорошей, жуткой пустотой. Лучше бы кручи безумные, чем эта, проклятая небом, застывшая навеки зыбь, давно покинутая всем живым.

При лунном свете серые пески лежали рябью, темны-

ми прерывистыми полосами. Чем дальше, тем мельше, короче и ниже становились полосы, сливаясь в ровное, безгранно-огромное поле.

С самого утра на душе беспокойно. Бергал отстал и не показывается. Случилось вечером: у колодца застали небольшой калмыцкий караван. Хрисанф соблазнился, на коней позарился. Стал торговать — не вышло: выдавал за них дешевле, чем за курицу. Обидно стало: вдруг орда и на тебе — артачится. Дальше — больше. Остальные подержали. Асон с Панфилом вспомнили былое, как насели, как вскинули ружья! Не дрогнула старая рука, наметанная на прицелах по калмыцким головам... Долго кружились и кричали калмыки, попусту разбрасывая стрелы, и не выдержали, побежали, побросавши все добро, оставив пятерых убитыми. Сенечка действовал на славу, а как начали делить, Хрисанф обидел, отобрал вороного коня. Из-за этого коня Бергал и бился, только одного и видел, когда грех на душу принимал — уложил двух человек да побывал на третьем, а Хрисанф налился кровью, подскочил и выхватил из рук поводья.

— Где тебе! Не к рылу конь-то.

Сенечка осатанел, накинулся, да тот отшвырнул его, ногой притопнул и еще расхохотался:

— Как его забрало, парень!

Теперь Сенечка пропал. Когда пошли со стану, он остался. Думали, догонит, как бывало не раз, а теперь и не придумаешь, куда его закинуло.

— Нет, скажи, кого он там удумал? — снова вспомнил Назар, обращаясь к Асону.

Старик солидно помолчал, поправился в седле и нахлобучил глубже шапку.

— Надо так располагать, что обернулся... Без пути ему с нами.

Он не одобрял Хрисанфа, но и от Бергала с самого начала не ожидал хорошего.

— Лучше бы и не вязался. Миру не выносит, как поганый ладану, а сам все вяжется.

— Душа, парень, ищется, — вставил задремавший в седле Анисим, — жизнь-то шибко уж нескладная, собачья, прямо, так сказать, ну, оно и манит к людям.

— Ну, дак ты пошто все выкамуриваешь? — внушительно спрашивал Назар, будто обращаясь к Сенечке. — Слова гладкого не скажет, все с гвоздями, с заковыками.

Покуль гладишь по шерсти — молчит, а поведи напро-
тив — ерихорится.

— Да подавись он и конем-то! — отзывается Хри-
санф. — Лошаденка так себе, запаренная, с виду только
манит. Будь он с ней! Бери. Отдам...

Панфил придерживает лошадь.

— Всякому, Хрисанф, не за любо покажется. Всем из-
вестен Сенечкин обычай. Надо бы подальше.

— Да кому тут коня-то? Ну, скажи, кому отдать? До-
бро бы, путный был. Сесть путем не сядет, все с пенька та-
рашится.

— Нет, ты шибко его не охаивай, — вступился Ани-
сим, — с лошадей он мастер.

— Мастер! Тоже выговорит... Да отдам, поди он
к ляду.

Сам поддернул повод воронка и так сдавил его ногами,
что лошадь захрапела, испугалась и шарахнула задом Ва-
силисину кобылу.

— Держи, ли чо ли! — взвизгнула баба, хватаясь рука-
ми за гриву. — Топчется и топчется...

— У-у ты, Азия! — рычит Хрисанф, еще сильнее заби-
рая повод. — По обычаю видно... Только норовит, куда
бы в сторону.

В хвосте, за отбитыми с баранты лошадьми, плетутся
молодые.

— Жалко, слышь, Сенечку, — вздыхает Акулина.

Иван что-то думает и убежденно говорит:

— Не пропадет он.

Тяжелой поступью ныряют кони по холодным песча-
ным холмам. Идут, понуря головы, ленивым шагом. Жи-
воты подтянуло. Во рту высухло и горячо. По привычке,
будто все еще не веря окружающему, наклоняют они голо-
вы и ищут пересохшими губами травы. Но губы прикаса-
ются к холодной и мертвой земле.

Кони чувят что-то необычное, смутно-тревожное. Все
идут в полусне и вдруг, словно по команде, высоко под-
нимут головы, насторожатся, вслушаются, глубоко по-
тянут в себя воздух. Тревога переходит к людям, но ни-
кому не хочется сказать об этом.

Перед светом отвоєванные кони стали беспокоиться.
Потеряли и усталость. Бодро вскидывают головы, строчат
ушами, озираются.

— Не Сенечку ли чувят? — высказал догадку Анисим.

— Бывает это, балуют, — успокоил Асон: — она животная степная, дикая. Взыграют вот, мотри.

Он, обернувшись, крикнул:

— Эй, бабы! Поддержись, кто на калмычках. Тетка Дарья! Ты, однако?

— Чо это?

— Да поддержишь, мол. Кони урсят.

Дарья и сама заметила.

— Моя-то все ушами хлопает.

— Ну, вот то-то. Штоб тебя не схлопала.

Хрисанф долго вслушивался. Наконец, когда оживший воронко и еще другой калмык — буланый под Панфилом — звонко и надсадисто заржали, он не скрыл беспокойства.

— Што за притча? Тут, мотри, не Сенечкой попахивает.

— А кого тебе почудило? — пряча страх перед чем то, засмеялся Назар.

— Да уж это, брат, так — свату сват поклон заказывает. — Он натянул поводья.

— Осади-ка малость. Эй, Панкратыч, придержи.

Все задержали лошадей и, тесно съехавшись, посмотрели на Хрисанфа.

— Землю вот послушать, — ответил он на общий молчаливый вопрос, слезая с лошади, — она не утаит, сейчас расскажет.

Остановившиеся лошади, как по команде, повернули головы, насторожили уши, и опять жеребцы залились, подбирая тощие брюха.

— Я боюсь, Ванюшка, — вздрагивала Акулина.

— Погоди ты... помолчи.

Он сознавал, что, может быть, близко уже то, о чем так много говорили по деревням, чем беловодцы так гордились. Смутно чувствовал, что им, закинутым в пустыню, угрожает что-то и это что-то не от них и не с ними пришло, а наслала его пустыня. Боязни не было. Хотелось открыто и смело посмотреть в глаза тому, что надвигается из холодной, затянутой подлунным сумраком могильной дали. Он наклонился к передней луке и чутко слушал, вглядывался.

— Зря, поди, все? — усумнился Анисим. — Где-нибудь отбилась лошадевка, шарится.

Хрисанф, едва передвигая ноги по песку, отошел и растянулся на земле, прилип к ней ухом. Все затихли. Про-

шло, казалось, много времени. Хрисанф вскочил. Его за-сыпали.

— Ну, рассказывай!

— Слышно?

— Слышно, што ли?

Он ответил одним словом:

— Наступают.

И никто не нашелся ничего сказать.

— Коней, так, десятка три, не меньше... Подвигают ровным шагом.

— Да кто это? — выкрикнула перепуганная Василиса.

— Нас проводывать с деревни едут, — сгрызнулся Хрисанф.

Панфил заторопил.

— Садись, садись! Поедем шибче. Ежли чо, так и уйти не хитрено.

— Куда уйдешь? — наплыл Хрисанф. — Куда уйдешь?..

— Куда тут? — согласился Асон.

Дарья заскулила:

— Вот не надо было по-людски, так бог послал... Отольется за разбой-то...

— Помолчи ты! — строго и испуганно крикнул Назар.

— А помолчи-ка сам! Вот посмотрю, как завертишься.

Ну, што теперь? Куды тут?.. Матушка царица, богородица!..

— Ой-ой-ой! Да што это, скажи, нам навязалось... — сквозь слезы вздыхала Василиса.

— Бабам в кучу и молчать! — властно зыкнул Хрисанф.

Не слушая жалоб и стонов, он окинул взглядом всадников и, сознавая силу, стал громко приказывать:

— Коням смену! Пересядь на заводных! Пола за пояс! Стремена огляди, узду! Подбери чумбуры! Сумины сделай на отлет—как ежли уходить, так чтобы сбросить сразу. Да зря не бросай. Без харчей пропадешь. Стреляй не сразу—надвое. Покуль трое заряжают — трое отбивайся. Цель в упор! Садь на муху! Пистон обмени. Подсыпь на полку!..

Небо на востоке задымилось серой мутью. Звезды потеряли яркие иглы-лучи: подходит утро. Стан, готовый к бою, ровным шагом, бесшумно плывет по пескам. Разговоров не слышно. Лица строги и спокойны. Но старики и

молодые поминутно смотрят, вслушиваются в белесую глухую муть. Теперь уже ясно, что их обходят, окружают.

— И завсегда вот так, — бросает спокойно Хрисанф, — заездом норовят, собаки.

Круг понемногу суживался; скоро видно стало всадников. Они двигались редкими звеньями, все приближаясь, все затягивая так хорошо закинутую петлю.

И когда невольно стало терпеть, когда цепь, казалось, захлестнула вокруг горла, Хрисанф не выдержал. Высоко привставши на стремянах, он страшно крикнул что-то непонятное, бросил дерзкий, требующий вызов. Кругом вздрогнули. А лошади нетерпеливо перекликнулись и зашагали нервной поступью.

В цепи, будто выждавши должное, где-то справа, звонко крикнули, и не успели мужики взять на прицел, как в воздухе взвыли грузными шмелями длинные, тонкие стрелы. Дарья взвизгнула, взревела и тяжело упала на бок. Под Асоном взбеленился рыжий: вдруг осел, поднялся на дыбы, лягнул кого-то задом и, взбешенный, ринулся от круга, унося в своей шее стрелу.

— Держи Асон! Держи! — кричал Панфил, прицеливаясь влево.

Грянули гулкие выстрелы. Но снова прогудели ядовитые шмели, впиваясь в сгрудившихся лошадей, и, словно по сигналу, цепь с визгом и криком захлестнула окруженных. Мужики в упор ударили огнем из широкогорлых и длинных стволов, без прицела, по намету. Тяжелыми черными комьями грохнулись двое в песок, но остальные стиснули, в мгновение смяли баб и мужиков, насели с диким ревом, потрясая копытами.

Хрисанф увидел, как Панфил с плеча хлестнул нагайкой подскочившего к нему калмыка и вдруг словно осел, потерялся с коня, а над ним уже суетливо топтались с победными кликами двое. Где он? Как с ним?

— Ну, Панфил, не сдай же! Ну, не сдай, Панфил! — закричал Хрисанф, да так, что справа шарахнулась чья-то брошенная лошадь. — Держись! Крути его!.. Прочь, собаки! Размож-ж-у!

Он ударил коня в ребра и, держа ружье за ствол, взмахнул им, как дубиной. Кто-то дико вскрикнул, что-то хрястнуло под кованым прикладом. Лошадь, скаля зубы, взвилась на дыбы и грудью врезалась в свалку. На песке,

ворочаясь, пыхтел Панфил. Не сдержал, видно, старый двух крепких молодых волков. Хрисанф резко опустил приклад и под ним в предсмертной судороге закрутилось что-то грузное, живое. Новый взмах — и Панфил уже был наверху, доканчивая дело своим верным ножом. Он работал молча, и Хрисанфа радовало, что старик так ловко и проворно управляется с насевшими.

— Вали, Панфил! Вали! У-ух ты! Ого-го!

Он тигром рыкнул, круто повернул коня и совсем пригнулся обрушиться туда, где с визгом и ревом крутился живой черный клубок, как страшный удар по затылку черным колпаком накрыл все окружающее. Шапка свалилась. Снопом ослепительных искр, как освещенная полуденною молнией, вспыхнула в глазах пустыня. Но свет погас, как и вспыхнул, мгновенно. Хрисанф зашатался и уже готов был опрокинуться с седла, как на горло легла петля. Едва держась на прыгающей лошади, он полусознательно приподнял руки и поймал у горла что-то крепкое, упругое. Побеждая угасающую память, чуть открыл глаза... Бергал!.. Или смерть в его образе? Напряг все силы, разом сбросил с себя черный и душный колпак, оторвался от пестли. Нет, нет! Это Бергал! Это Сенечка! Лезет вместе с лошадей, будто переехать хочет, злобно и страшно шипит. Вот выдернул нож!.. И загорелся Хрисанф, пожаром вспыхнул, бросился на Сенечку голодным волком, перевернул его через седло, грузно рухнул вместе с ним, подмял, ударил головой о землю, стиснул крепкими руками глотку... Бергал, умирая, хрипел, а над ним хрипел Хрисанф:

— Христопродавец! Собачье подхвостье! Вот куда! Так вот-те! Вот-те! Сволочы!

Раненая лошадь, потерявшая седока, наткнулась на Хрисанфа, перепрыгнула, хлестнула его задом по спине.

Хрисанф отпал от Сенечки, опомнился. Но чуть встал, как на него наплыли толпой те, куда он только что так рвался. Баб скрутили, волокут и отбиваются от мужиков. Пыхтят и гайкают. А Ванюшка с Анисимом работают по головам. Но вот обломился Анисим — не остерегся заднего.

Хрисанф вскочил.

— Не сдай! Иван, не сдай!

Как пудовые молоты, опустил он жилистые кулаки, — и погнулись, захрустели кости. От баб разом отступили.

Ванюшка поймал Акулину и не знает, куда деться: помутился разум, растерял всю силу.

На Хрисанфа навалились трое, но над ними гаркнул кто-то пронзительным и властным криком, ему отозвались во всех концах, и шайка хлынула в пустыню...

Все пропало. Словно ничего и не было. Будто ураган пронесся. Налетел безумный, беспощадный, закрутил и разбил, и ушел, свободный, к грням неизведанной пустыни, унося с собой надежды.

XIII

Солнце поднималось над землей багровым шаром. И побледневшая перед его лицом лазурь, и до земли пронизанный лучами стрелами сухой недвижимый воздух, и пески, подернутые мертвой рябью, — все было залито жарким золотом. Но не жизнь и радость, не смех и песни были в знойном молчании — то было великое молчание смерти. Она была близко, была разлита всюду и, спокойная, открыто смотрела беловодцам в глаза. К ней подошли вплотную.

Могила Сенечки, Асона и Анисима почти не выделялись из песчаных холмов. Назар с Панфилом молча мастерили крестики из завезенных веток саксаула, перевязывая их суровой пряжей. Ветки, сухие и корявые, плохо прилегали, и так они были изогнуты, что только страстное желание подсказывало, что у того и у другого получились не перепутанные диким ветром пучки высохшей травы, а намогильные кресты.

Отпевали покойных по полному чину, хотя гробов и не было. Панфил служил истово, спокойно и торжественно. Теперь, соорудивши крестики, опять молились и вздыхали. Василиса обезумела, лежит пластом и не шелохнется. Глаза открыты. Дышит и не дышит. Помутнело небо. Потерялось солнце. Все ушло куда-то, сдвинулось в тусклые дали. Что случилось? Где она?

— Все теперь ладно, — нарушил тяжкое молчание Панфил, оглядывая бугорки с корявыми крестами.

Василиса вдруг метнулась орлицей, грудью упала на могилу мужа.

Она не могла уже плакать, не могла причитывать. Отдала все слезы серому песку, а слова разбросала по ветру. Она стоном вылиwała свою смертную боль и, упавши ли-

цом в землю, скребла ее пальцами, будто умоляла бесстрастный песок разверзнуться и отдать ей Анисима.

Дарья скорбно наклонилась над ней и положила руку на плечо, но ничего не посмела сказать: пусть до конца изольется, пусть выплачет горе.

Все сидели молчаливые, тяжелые. А солнце крыло раскаленным одеялом, и под ним становилось так душно, что хотелось уйти в землю и от света, и от зноя, и от этих могил. Велико было горе, но некогда было ему отдаваться. Между мертвецами и живыми вставала бездна, и чем выше поднималось солнце, тем чернее и глубже становилась пропасть, тем дальше и дальше уходили ее берега. Предстояло сделать выбор — перешагнуть через могилы и дерзнуть идти в пустыню или возвратиться к граням жизни.

Лошадей угнали. Уцелела Василисина рыжуха, но и та была исколота, изрублена. Воды и харчей оставалось так немного, что только дня четыре — пять можно было на них продержаться. Все пропало вместе с лошадьми.

Хрисанф долго смотрел на песок и тяжело о чем-то думал, потом прошел глазами по всем лицам и остановился на Панфиле.

— Ну, Панкратыч, рассказывай, как поменяешь?

Голос был тихий и покорный. Панфил коротким, но открытым и решительным взглядом посмотрел кругом.

— Миром надо.

— Миром — это правильно. Вот и рассказывай. Тебе начало класть.

— Говори, Панфил, — расклонился Назар, сдвигая на затылок кошомную шляпу.

— Говорить надо немного. Слова человеческие, что песок в пустыне: больше говоришь — глубже истину хранишь.

Он помолчал, поправляя разбитую руку, оглянулся, сдвинул брови, будто клал на весы последнюю, самую малую гирьку, и заговорил тем учительским тоном, к которому привык в моленной.

— Господь нас, братия, настиг... не калмыки — господь! Великое нам испытание поставил. Так-то, разом, без искусу — где же! Пошел — и сразу все тебе открылось... Будто бы на пасеку приехал. Нет, ты огнем опали свою грешную душу, источи из сердца кровь, претерпи до конца... до конца претерпи!

Панфил возвысил голос.

— Без того нельзя помыслить! Страсти нам господь послал, большие страсти! А оно все к лучшему. К лучшему, братия! Великое горе ниспослано. Душа-то пала, страхом убило ее. А это господь нам милости послал. Допустил, знать, до горна небесного, чтобы горем да слезами выжгли все поганое. Доброе это знаменье!

Хрисанф нетерпеливо кашлянул и, глядя в упор на Панфила, спросил громко:

— Значит, дальше пошли?

Панфил вздохнул.

— Назад-то некуда.

Хрисанф долго молчал, рассматривая каждую морщинку, каждый белый волосок на лице старика.

— А эти как? — показал он на баб. — Как ты с ними?

Назар созсем собрался сказать что-то свое, накипевшее, но Иван перебил:

— Кого там разговаривать! — выкрикнул он, вскакивая на ноги. — Не пойдем никуда! Покуль целы остались... куда еще? Дай бог выбраться!.. Баба у меня на сносях ходит. Не пойду!

Акулина испуганно поглядела на Хрисанфа, а тот нахмурил брови.

— Молодой, да шершавый! Помолчал бы, стариков послушал!

— Не пойду!

— Но, уймись, ли чо ли! — пригрозил Назар, вставая на колени.

— Ты, Панфил Панкратыч, разбери теперь вот што! — волновался он, стараясь высказать набежавшие мысли. — Коней-то нету, харчей-то — вот оно все тут, а пески — конца им не видать. На смерть пойдем мы, Панкратыч. Наказание, может, и вправду нам на милость, а только без харчей не пойдешь. Ну, куда без харчей?

Замолчал и, обтирая ладонью мокрый лоб, взволнованно перебежал глазами по всем лицам. Ему казалось, что и слов не сыщешь сказать убедительней. Ведь так это просто, так понятно: нет харчей — нельзя идти.

Панфил, ни на кого не глядя, сказал тихо-тихо, будто самому себе:

— Близко тут.

Хрисанф прищурился.

— Докуда тут близко?

Но Панфил не ответил.

— Вот чево, Панкратыч!

— Сказывай!

— Не допустил господь, наперекор идти нам не с руки. Вот оборотимся, да сызнова.

Панфил тяжело пересел с ноги на ногу.

— Куда я? Мне не обернуться. Я с обетом.

Хрисанф начинал закипать.

— Обитель ты все... Где она? Кому указана? Надо до угодьев пробраться... Оттоль и к обители можно...

— Нет уж, пойду, — спокойно отозвался Панфил.

Хрисанф насупился. Не мог он, сильный и кипучий, выносить его голоса, такого кроткого и тихого, но всегда спокойного, решительного.

— Так ты што тут? А? Хоронигь всех хочешь? Разом штобы?

— Не кричи, Хрисанф Матвеевич, — невозмутимо посмотрел ему в глаза Панфил.

— Хоронить всех? Не пойдем! Вот до вечера только, а потом одно нам — назад подаваться. Назад! Доскребемся до гор — значит, живы. Умирать не захочешь — дойдешь..

Дар'я всхлипнула, взвыла:

— Выведи ты нас, батюшка! — Она обернулась к Хрисанфу и упала головой ему в колени. — Выведи, Хрисанф Матвеевич! По гроб, по конец своей жизни буду бога молить... Пропадем мы тут... Разнесет, развест наши косточки.

Хрисанф не слушал.

— По мне — этак, а там как кому приглянется. К вечеру складаться...

Назар скорбно крутил головой.

— Ой да, и скажи, стряслось же! Вот напасть! А все Сенечка! Увязался, слышь, на грех да на свою погибель. Ведь это что, скажи, выкинул! С ордой спознался! А?

— Собака драноглазая! — скрипнул зубами Хрисанф.

Он взглянул на могилу Бергала, вскочил, вырвал крестик, изломал и бросил.

— Крест! Куда ему с крестом? К сатане без креста хорошо... Кол ему осиновый!

Панфил в ужасе встал и, вихляясь на тонких ногах, растопырив руки, бросился к Хрисанфу.

— Што ты, што ты! Богородица с тобой! Покойный он!

— Сенечка?! — дерзким хохотом захохотал Хрисанф. Старик, как стоял, уронил свои руки, ничего не мог сказать и сел.

— Отвернулись! Уходят! Потерял былую силу. Ни словом, ни голосом их не вернешь. Хрисанф теперь им сила. За Хрисанфом пойдут. Не отстать им от мира.

Он не слышал голосов за спиной и не видел, как прошел мимо Хрисанф. Голову теснили тяжелые мысли, немощное тело побеждало дух. Перед Панфилом поплыли в волшебном мареве родные горы, развернулись темные луга, напитанные влагой, напахнуло терпким ароматом большетравья, и живой перед ним стояла грязная деревня со знакомыми домами, с моленной и гурьбой ребятишек на улице. Спокойно там, сытно... Все опять будет свое, родное. Примут с радостью. Будут долго охать и расспрашивать, а там пойдет по-старому.. Пасека брошена. Угодье-то какое! Лесу, лесу! А воды! И бежит она с кручей, будто песни поет. Не замолчит ни днем, ни ночью. И цветов, и трав там всяких! Красота господня! Утром встанешь вместе с солнышком, и нет тебе ни суеты и ни печали. На слезу позывает, как посмотришь. Молится каждая травушка, стоит тихохонько, а молится. И лес, и горы, и букашка всякая, и солнышко — все смеется ангельской улыбкой... День-деньской — по колодкам, а устали нету. От пчелы отстать не хочется...

Панфил сидел, склонивши голову в колени. Акулина, сама разбитая, пришибленная, не могла оторваться от Панфила. Она издали следила за ним и жалела его женской теплой жалостью.

— Один! Куда он? Да и как с ним? Умирать он собрался уж, што ли? На день, на два хватит, а там сгинет... Может быть, и передумает? До вечера-то долго. Ой, дожждаться бы только! Нету силушки сидеть среди огня.

Солнце будто и не движется, остановилось в небе. Акулина, спасаясь от жгучего света, прилегла на сумы и наглухо закрылась шалью. Господи! Да неужели же не выйти! Не пожить в деревне по-людски, не походить за домом! Да ведь она бы избу-то держала, как игрушечку!.. Ванюшка хочет на полянке выставить, за Иваном Елисеичем, над самой речкой. А на речку — балкон... расписной... Хозяйство сладить помаленьку. Все бы к месту, все в порядке. Мимо дому добры люди не прошли бы. Жить да радоваться... И вдруг вспомнила... Ребенок! Замерла душа

в тоске и сладком трепете. Словно с жару студеной водой по спине окатило. Промелькнуло то, как сказал Ванюшка: «Баба у меня на сносях ходит». И казалось, что это правда, что должно оно случиться скоро, что уже близко это страшное, великое, таинственное. Нет, скорее, скорее! На деревню, к людям, в свою избу!..

Акулина в смятении откинула шаль. Солнце обожгло и ослепило ее, а в его сиянии стоял Панфил. Стоял без шапки, опустивши руки. Но это уже был не тот Панфил, что сидел на песке беспомощный и немощный — сухое, длинное лицо его горело волей. Он стоял без движений, без слов, но по глазам, по каждой тонко вырезанной складке на лице все видели, что он решил, что он остается один, и никакие силы не вернут его.

XIV

Вторые сутки были на исходе, как Панфил все шел и шел. Море-озеро святое было близко. Когда солнце накаляло и песок, и воздух, в дальнем мареве вставали тенистые рощи, и тогда Панфил с новой верой, с новой силой смотрел в сияющее небо. Ему ночью было чудное видение, и он знал теперь дорогу. В котомке у него лежала старая из старых книг — благословение родителя, и с этой книгой, верил он, его пропустят. Книга правильная.

Плечи давит длинное, тяжелое ружье, горячим камнем налегла на голову пуховая шапка, ноги тонут, обрываются, скользят в песке, во рту давно уж сухо, глотку обжигает с каждым вздохом, по губам сочится кровь, а в глазах нехорошо — темно и мутно! Но сквозь темь и муть опять маячат острова и рощи. Близко, близко! Только бы до берега! Припасть к воде...

Но спустилось солнце с неба — и пропали дивные леса...

Был третий полдень. И все также, без границ и без жизни, расстилалась желтая пустыня. Панфил, маленький, сгорбленный, переползал с холма на холм, и высокое солнце видело лишь черную фигурку, в безумстве борющуюся с пустыней, да воробьиный дробный след в волнах песка.

Все медленней и медленней ползет безумец, и вот-вот затихнет, остановится, и оборвется след.

Панфил уже минутами не сознавал, идет ли он или стоит. Ему было все равно. В глазах потемнело. Леса ушли. И взроптала душа. Он давно уже бросил и ружье, и кафтан, идет теперь, делая последние шаги, чтобы пасть и не встать.

Совсем один! Ушли! Теперь подхсдят к первому колодцу. Жалость и боль за себя вызвали откуда-то последние соленые слезинки... Вспомнилось, как расставались.

Акулина подошла украдкой.

— Дедушка, пойдем, ли чо ли... пропадешь тут. Где тебе?.. После... потом сходишь опять...

Сама плачет и хоронится, чтоб не заметили.

До слез это тронуло. Не баба — золото. Сердце голубиное. Благословил ее горячей старческой молитвой:

— Награди тебя господи за доброту твою, за ласку...

Будто с покойным прощались, искушали сатанинскими речами... Хрисанф не выдержал. Пойми его! Все бегал, рыкал, а как простились да ушли — вернулся. Далеконько были — прибежал.

— Ну, Панкратыч, поднимайся. Будет! Ждут там. Без тебя не пойдем...

Уж не дьявол ли в образе Хрисанфа? Сомустить хотел. Да не дался ему. Заклятием великим отпугнул... Ушел ярый, с богохульными словами...

И опять щемит сердце, да не осталось слез, все высохло.

«Захотели бы, так на руках, силком подняли... Лишний, верно»...

Мысли путались и обрывались.

Вот опять! Опять видно! Панфил уже не верил и остановился, пораженный и испуганный: «Дьявольское наваждение! Ничего там нету. Дьявол путает, глумится».

Но за ближним длинным гребнем встали темною каймой живые, настоящие леса. Нет, вот они, вот! А озеро! Видно, как над ним повисли, опрокинувшись вершинами, высокие деревья. Вот когда оно открылось! Верно, только так и можно подойти к нему... Взроптал! Не выдержал! Чуть не погиб под самым берегом!

Панфил, спотыкаясь, добрал до холма и обессилел. Подломились ноги, в голове потемнело. Последние силы убивал он, чтобы передвинуться вверх, и полз на острых, высохших коленках, цепляясь пальцами за землю, будто сзади была пропасть!

Вот скоро, вот близко!

Выбрался на гребень... Страшно посмотреть... Глаза не открываются... Каждая жила струной натянулась, и поднялся он, словно вырос из холма, во весь свой рост, в разорванной серой рубахе, обтянутый по тонким и длинным костям задубевшей темной кожей... Открыл глаза, всмотрелся...

Вплоть до светлых краев неба был песок... песок... песок.

И так же, как вырос, ушел он в холм. Пал на землю и затих.

Но, верно, того только и ждало море-озеро святое. Подступило оно к самому холму и открылось Панфилу в красоте своей великой — с островами, скитами и храмами. Ликующим, радостным звоном зазвенели невидимые, по лесам и под водой, колокола.

Подошла к холму лодка.

Панфил, ясный и спокойный, поплыл к тихой обители.

